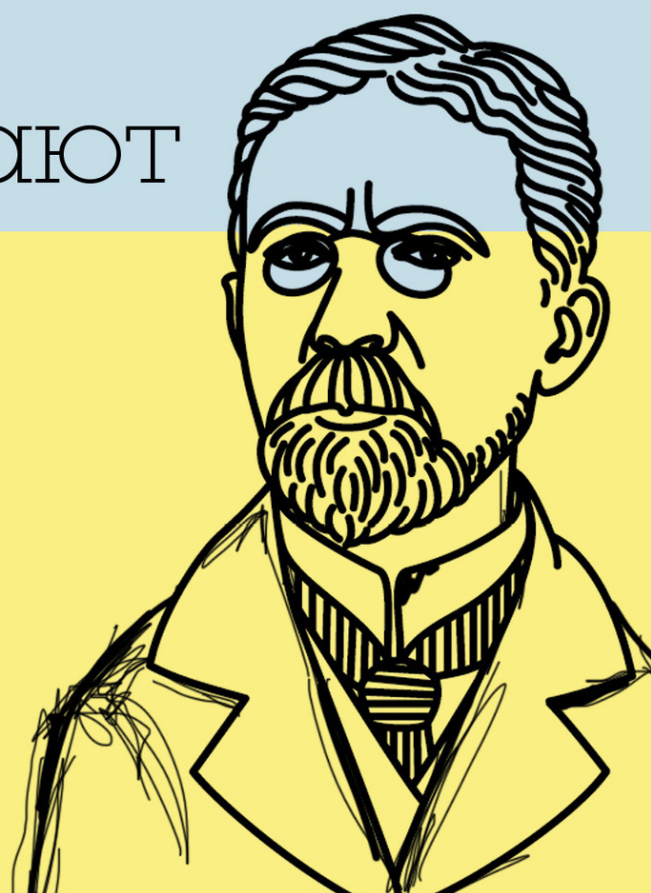


литературное путешествие

Элиф Батуман БЕСЫ

Приключения
русской
литературы
и людей,
которые
её
ЧИТАЮТ



Литературное путешествие

Элиф Батуман

**Бесы. Приключения
русской литературы и
людей, которые ее читают**

«АСТ»

2010

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)

Батуман Э.

Бесы. Приключения русской литературы и людей, которые ее читают / Э. Батуман — «АСТ», 2010 — (Литературное путешествие)

ISBN 978-5-17-111680-4

«Лишний человек», «луч света в темном царстве», «среда заела», «декабристы разбудили Герцена»... Унылые литературные штампы. Многие из нас оставили знакомство с русской классикой в школьных годах — натянутое, неприятное и прохладное знакомство. Взрослые возвращаются к произведениям школьной программы лишь через много лет. И удивляются, и радуются, и влюбляются в то, что когда-то казалось невыносимой, невероятной ерундой. Перед вами — история человека, который намного счастливее нас. Американка Элиф Батуман не ходила в русскую школу — она сама взялась за нашу классику и постепенно поняла, что обрела смысл жизни. Ее увлекательная и остроумная книга дает русскому читателю редкостную возможность посмотреть на русскую культуру глазами иностранца. Удивительные сплетения судеб, неожиданный взгляд на знакомые с детства произведения, наука и любовь, мир, населенный захватывающими смыслами, — все это ждет вас в уникальном литературном путешествии, в которое приглашает Элиф Батуман.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-17-111680-4

© Батуман Э., 2010

© АСТ, 2010

Содержание

Предисловие к русскому изданию	7
Введение	9
Бабель в Калифорнии	20
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Элиф Батуман
Бесы
Приключения русской
литературы и тех, кто ее читает

Elif Batuman

The Possessed:

Adventures with Russian Books and the People Who Read Them

* * *

Печатается с разрешения автора и литературного агентства The Wylie Agency (UK), Ltd.

© 2010, Elif Batuman

© Григорьев Г., перевод на русский язык, 2018

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2018

Предисловие к русскому изданию

Дорогие читатели! Эта книга вышла в США в 2010 году под названием «The Possessed» («Одержимые»). Именно так английские переводчики некогда озаглавили роман Ф. М. Достоевского «Бесы». (Вдохновением для моей книги стало замечательное, как мне казалось, сходство между сюжетом Достоевского и некоторыми событиями, происходившими на факультете сравнительного литературоведения в Стэнфордском университете, когда я была там аспиранткой.) Название «Одержимые» мне понравилось тем, что оно отсылало к Достоевскому – но при этом сохранялась определенная дистанция. Поскольку теперь моя книга выходит на русском языке как «Бесы», эта дистанция исчезла.

Странно и, честно говоря, немного неловко публиковать книгу в России под названием романа Достоевского. Боюсь показаться наглой самозванкой. Впрочем, «Бесы» Достоевского начинаются, как вы знаете, с эпиграфа из Евангелия от Луки о том, как бесы «вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло». То есть существенная характеристика этих бесов – свобода передвижения. Они могут оказаться в самых неожиданных местах. Значит, почему бы и не здесь?

Большая часть этой книги была написана в период с 2005 по 2007 годы в аспирантуре. Повествуемые события же произошли и того раньше: с 1990-х годов, когда я начала изучать русский язык, по 2006 год, когда я отправилась в Санкт-Петербург от журнала «Нью-Йоркер», чтобы описать реконструкцию Ледяного дома Анны Иоанновны. Тогда я даже не могла себе представить, что однажды мои очерки будут опубликованы на русском языке. Этот перевод для меня – великая честь...

Как вы, незнакомые новые читатели, отнесетесь к моей книге? Думая об этом, я испытываю некоторую тревогу, ощущение несвоевременности; как будто эта книга появляется не вовремя, некстати. Впрочем, для меня это не впервые. Я с детства чувствовала себя «не вовремя» и «не очень кстати». Возможно, это одна из причин, почему я полюбила русскую литературу. По словам замечательного критика Виктора Шкловского, «русская великая проза опоздала сравнительно с западноевропейской в своем появлении, но, появившись, осознала себя и мир по-своему». Вот именно этот мир – неожиданный, изумительный, ироничный, непривычный – меня очаровал.

Многое изменилось за последние годы: как в моей жизни, так и вокруг. Например, в моей книге я сравнивала русскую литературу с турецкой как произведения двух разных миров. Но потом, работая журналисткой «Нью-Йоркера» в Турции, родной стране моих родителей, я везде узнавала бесов Достоевского. И я поняла, что русская литература не так уж далека и от турецкой реальности, – но это предмет для будущей книги (если будем живы).

Книга, которая перед вами сейчас, – не столько о моих нынешних мыслях о русской литературе, сколько о том, как становишься писателем. Мой путь я прошла, робко следуя за русской литературой.

Думая о событиях, описанных в книге, я вспоминаю о терпении и щедрости множества людей: в университетах и вне их, от Калифорнии до Москвы и Самарканда. Так что эта книга имеет еще одно значение, которого я не осознавала, когда ее писала. Это книга о щедрости и понимании, о том, как общение становится возможным, несмотря на препятствия и ограничения. А это ведь всегда вовремя и кстати?

Элиф Батуман
Бруклин
Август 2018 г.

Введение

В книге Томаса Манна «Волшебная гора» молодой человек по имени Ганс Касторп приезжает на три недели в швейцарский санаторий навестить больного туберкулезом кузена. У самого Касторпа туберкулеза нет, но он задерживается там на семь лет. Сюжет «Волшебной горы» сродни истории ее создания: Манн сел писать рассказ, а вышел у него роман на тысячу с лишним страниц. Несмотря на сложность книги, ее центральный вопрос весьма прост: как получается, что человек *без туберкулеза* на целых семь лет застрял в туберкулезном санатории? Я нередко задаю себе тот же вопрос: как получилось, что человек без особых академических амбиций провел семь лет в калифорнийском пригороде, изучая русский роман как литературную форму?

В «Волшебной горе» это объясняется любовью. Посещая кузена, Касторп до безумия влюбился в одну из пациенток – жену русского офицера. Ее выступающие скулы и серовато-голубые «киргизские глаза»¹ напомнили Касторпу, как однажды в школе он уже испытывал влечение к Славянскому, а именно – к боготворимому им старшему ученику, у которого Касторп в одну из счастливейших минут жизни попросил карандаш. Глаза русской дамы «жутко и ошеломляюще напоминали» глаза того ученика; на самом деле, уточняет Манн, «„напоминали“ – совсем не то слово, – это были те же глаза». Под их гипнотическим влиянием охваченный страстью Касторп узнает о самоварах, казаках и русской речи, которую Манн колоритно характеризует как «нечеткую, страшно чуждую, бескостную речь с востока». Однажды Касторп посещает лекцию «Любовь как болезнетворная сила», где санаторный психоаналитик ставит диагноз всей своей аудитории, называя присутствующих жертвами любви. «Симптомы болезни – это замаскированная любовная активность, и всякая болезнь – видоизмененная любовь». Касторпу придется осознать истинность сказанного. Любовь к этой замужней женщине столь огромна, что у него начинается горячка, а на легком выявляются влажные очажки. Именно из-за этих очажков – реальных или воображаемых – вкупе с надеждой хотя бы мельком видеть в столовой возлюбленную он и остается на Волшебной горе.

Безусловно, наши истории очень разные. Но есть и некоторое сходство. Те семь лет, что я провела в Стэнфорде на отделении сравнительного литературоведения, – тоже от любви и от того, что меня очаровало Русское. Эта любовь наметилась еще в школьные годы благодаря случайному знакомству с одним русским, и позднее она получила развитие в академической обстановке.

Первым знакомым мне русским был мой преподаватель в Манхэттенской музыкальной школе, куда я по субботам ходила на скрипичные классы. Максим носил черные свитера с высоким воротником, играл на оранжевой скрипке с мягким тембром и производил впечатление постоянной погруженности в размышления и взвешивания, выходящей за рамки обычного мыслительного процесса. На одном из занятий, например, он сказал, что должен уйти на десять минут раньше, и затем потратил *целых десять минут* на витиеватые логические построения вокруг того, почему его ранний уход никак не скажется на моем учебном процессе.

– Скажи мне, Элиф, – воскликнул он, достигнув какой-то уже невероятной степени возбуждения. – Покупая платье, ты выбираешь самое красивое... или же то, на которое ушло больше ткани?

В другой раз Максим велел мне ознакомиться с некой особенной советской записью скрипичных концертов Моцарта. Сидя в деревянной библиотечной кабине, я прослушала все пять концертов подряд – текучее, элегантное исполнение, где через напряженные скрипичные пассажи проглядывает, казалось, весь вселенский надрыв земной жизни Моцарта. Слушая, я осо-

¹ Т. Манн. Волшебная гора. Здесь и далее – пер. В. Станевич (примеч. пер.).

знала, что меня отвлекает коробка диска – слегка расплывчатое фото солиста с поворотом лица в три четверти: он внешне был *буквально неотличим* от моего учителя. Строгая осанка, изогнутая форма рта, сосредоточенные меланхоличные брови – все в точности такое же. Его даже звали Максим, хотя фамилия другая.

На следующей неделе Максим спросил меня: не заметила ли я в этом скрипаче что-нибудь необычное?

– Например? – спросила я.

– Ну, скажем, внешность. В Московской консерватории мне иногда говорили, что мы с ним похожи, очень сильно похожи. Больше, чем братья.

– Вообще-то да, мне по фотографии тоже так показалось.

После этой невинной реплики его лицо вдруг помрачнело, словно на голову накинули черную ткань.

– Ничего, ничего, – чуть ли не сердито произнес он.

Самый, наверное, странный эпизод с Максимом произошел на годовых экзаменах в музыкальной школе. В течение нескольких недель перед экзаменами он постоянно менял список этюдов и гамм, которые я должна подготовить, однажды даже позвонил посреди ночи, чтобы сообщить об очередном изменении.

– Мы должны быть как следует подготовлены, поскольку не знаем, кто будет в комиссии, – постоянно твердил он. – Неизвестно, что именно тебя попросят сыграть. Мы можем, конечно, догадываться, но не знаем наверняка.

Когда настал тот самый день, меня вызвали в экзаменационную, где стояли рояль и длинный стол, во главе которого, председательствуя над двумя младшими преподавателями, восседал не какой-то незнакомый член комиссии, а *Максим собственной персоной*.

– Здравствуй, Элиф, – приветливо произнес он.

Подобные мистификации могут сильно действовать на молодых людей, а в моем случае наложилось еще и то, что я как раз закончила читать «Евгения Онегина», и меня особенно взволновал сон Татьяны – знаменитый фрагмент, где она видит себя пересекающей заснеженную поляну, «печальной мглой окружена», когда ее начинает преследовать медведь. Он сгребает пушкинскую героиню в охапку, та теряет сознание и приходит в себя, оставленная медведем в сених какого-то дома, на пороге комнаты, откуда доносятся крики и звон стаканов, «как на больших похоронах». Через дверную щель она видит длинный стол, окруженный пирующими чудищами: танцующая мельница, полужуравль-полукот, а во главе стола сидит – как с безотчетным ужасом понимает Татьяна – не кто иной, как Евгений Онегин.

Татьянин сон претворяется в жизнь на злополучных именинах, где Онегин, движимый, очевидно, одной лишь скукой, разбивает ее сердце и роковым образом ссорится со своим юным другом Ленским. (Несколько лет спустя в Москве Онегин влюбится в Татьяну, но будет уже поздно. Любя его по-прежнему, она теперь замужем за старым генералом.) Я читала «Онегина» в английской набоковской редакции и была поражена замечанием Набокова о том, что язык в «Сне» не только содержит «отголоски ритмов и выражений»² того, что испытывала Татьяна в одной из предыдущих глав, но также и предопределяет будущее: «Гости, которые в реальной жизни Татьяны присутствуют на ее именинах, а позднее и на балах в Москве, как бы предвосхищены мрачными образами сказочных упырей и монстров-гибридов – порождениями ее сна», – пишет Набоков.

Мне показалось, что скрипичная комиссия тоже была предвосхищена и порождена Татьяниным сном и что появление Максима во главе этой комиссии послужило неким тайным предзнаменованием.

² В. Набоков. Комментарии к «Евгению Онегину». Пер. А. Николюкина (примеч. пер.).

Хоть я и не бросилась немедленно искать ответы в национальной литературе Максима, этот случай еще хранился где-то на задворках моего сознания, когда однажды летом у бабушки в Анкаре я обнаружила «Анну Каренину» в «пингвиновском» издании семидесятых годов. У меня как раз кончились все английские книжки, и я была рада, что мне попала такая толстая. Представьте, сколько времени понадобилось Толстому, чтобы написать ее! Вместо фрисби или барбекю он предпочитал проводить время именно так и не жалел об этом. Никого из персонажей «Анны Карениной» – в отличие от меня – не угнетает тирания праздной жизни. Все досуговое занятие в романе – коньки, балы, бега – прекрасны, исполнены достоинства и занимают в сюжете свое место.

Следующие две недели я провалилась на бабушкином супербуржуазном диване розового бархата, поглощая несметные количества винограда и запоем читая. «Анна Каренина», казалось, начинается ровно там, где кончается «Онегин», в том же самом мире, словно люди в оперном театре – это тоже порождение Татьянинного сна, атмосфера которого уже успела прочесть в опыт, полученный Анной на бегах и в застрявшем поезде. Это тот же мир, тот же дух, только все – крупнее, будто детально выполненный кукольный домик превратился в дом настоящий с длинными коридорами, сверкающей обстановкой, старым заросшим садом. Вновь появляются элементы из «Онегина»: снег во сне, роковой бал, револьвер, медведь. Словно весь «Онегин» был сном Анны, которая в своей собственной жизни воплотила несбывшуюся Татьянину судьбу³.

«Анна Каренина» – это совершенный роман, он невообразим, монолитен, он находится в переходной зоне между природой и культурой. Как простой смертный смог написать книгу столь большую и в то же время столь маленькую, столь серьезную и столь легкую, столь странную и столь естественную? Героиня впервые появляется только в восемнадцатой главе, а действие еще девятнадцати глав происходит уже после ее гибели. Мужа и любовника Анны зовут Алексеями. Прислугу и дочь Анны зовут Аннами, а сын Анны и единокровный брат Лёвина – оба Сергей. Повторение имен показалось мне незаурядной, удивительной, жизненной деталью.

Мать обрадовалась, увидев, что я читаю «Анну Каренину», как оказалось, ее старую книжку. «Теперь ты мне расскажешь, что там имеется в виду», – сказала она. Мать часто спрашивала меня о том, «что имеется в виду» – в книгах, фильмах, репликах сотрудников. (Она работала в медицинском центре Университета штата Нью-Йорк, где людям, похоже, свойственны самые непостижимые высказывания.) Этими вопросами она подразумевала, что я, в отличие от нее, – носитель языка. На самом деле мать в Анкаре с раннего детства училась в американской школе, и у нее прекрасный английский; лишь однажды я действительно смогла ответить на ее вопрос, сказав, как буквально переводится одна английская фраза. (Это была фраза «до упаду».) Во всех же остальных случаях – включая и теперешний «Что имеется в виду?» – это означало что-то вроде: «Какое отношение ко мне или к людям вроде меня кроется за этими словами?» Мать жила в уверенности, что всякий человек тайно питает положительные или отрицательные базовые чувства к другим и выдает эти чувства своими словами и поступками. Если твоя фотография вышла ужасной, то это – признак того, что фотографу ты на самом деле не нравишься.

– Так что там имеется в виду? – спросила мать, когда я закончила читать. – Что Толстой хотел сказать? Что Вронский не смог полюбить Анну по-настоящему?

Мы сидели на кухне в Анкаре, городе, имеющем с «Анной Карениной» анаграммную связь, и пили то, что турки называют «турецким чаем», – очень крепкий и сладкий «Липтон», который подают в тюльпановидных чашечках.

– Думаю, – сказала я, – что Вронский любил Анну по-настоящему.

³ Эту мысль высказывает критик-формалист Борис Эйхенбаум в работе «Лев Толстой: семидесятые годы», где он характеризует «Анну Каренину» как продолжение «Евгения Онегина», а Анну называет реинкарнацией Татьяны.

– Он не мог любить ее достаточно, иначе она бы себя не погубила. Этого бы попросту не произошло. – Теория матери состояла в том, что на свете есть два типа мужчин: те, которые женщин по-настоящему любят, и те, которые нет. Вронский, мужчина из тех, кто любит женщин, был поглощен Анной, Анна была поглощена им, но в глубине души он не был ей предан в том смысле, в каком Лёвин, мужчина, который женщин по-настоящему и не любит, был предан Кити.

– В этом что-то есть, – согласилась я.

– Может, Толстой хотел сказать, что для женщин лучше быть с такими, как Лёвин? Что Кити сделала верный выбор, а Анна – нет?

– Не знаю, – ответила я. И я на самом деле не знала. Оглядываясь назад, можно сказать, что я к тому времени уже приобрела некоторые представления о литературе. Я верила, что в ней действительно что-то «имеется в виду» и что интерпретация зависит от лингвистической компетентности – от железного закона хомскианцев об интуиции носителя языка. («Ты же по-настоящему говоришь на английском», – с восхищением говорила мать, беседуя со мной о книгах.) Вероятно, поэтому я и решила, что, когда пойду в колледж, займусь лингвистикой; у меня даже мысли не было изучать литературу. Помню, я твердо верила, что в лучших романах материал и вдохновение черпаются исключительно из жизни, а не из других книг, и, следовательно, мне, начинающему писателю, желательно читать поменьше романов.

Меня не интересовали и собственные познания из области теории и истории литературы. В те дни общепринятой считалась идея, будто «теория» вредна писателям, она заражает их враждебностью к языку и превращает в постмодернистов; что, мол, теория может предложить, кроме как свести роман к набору малоприятных фактов о правительствах или к поверхностному кайфу, который получаешь, наложив «Гордость и предубеждение» на принцип неопределенности? Что до истории литературы, мне она казалась дисциплиной книжной и непритязательной. Зачем так напрягаться, доказывая вещи, которые никто и никогда не станет обсуждать в первую голову, – как, например, влияние одного писателя на другого, влияние более раннего – на того, кто жил позднее?

У меня в те дни не было ни понимания истории, ни желания его приобрести. Мне казалось узколобым давать приоритет тем или иным историческим событиям просто на основании того, что все вышло так, а не иначе. К чему быть рабом субъективной истины? Истина меня не волновала, меня волновала красота. Мне понадобились многие годы, понадобился опыт прожитой жизни, дабы осознать, что эти два понятия суть одно и то же.

Тем временем я стала заниматься лингвистикой. Я собиралась изучить общий механизм работы языка, саму его чистую форму. Как обязательный иностранный я выбрала начальный русский: может, однажды смогу рассказать матери, что Толстой хотел сказать.

Гвоздем в гроб моей лингвистической карьеры стал, наверное, курс философии языка, куда я записалась той зимой. Целью курса было сформулировать теорию, которая объяснила бы марсианину, «что именно мы знаем, когда знаем язык». Более беспредметного и тоскливого проекта я не могла вообразить. Как выяснилось, решение состоит из серии тезисов, построенных по формуле «Утверждение „снег белый“ является истинным, если снег бел». Профессор – сухопарый логик с дикой гривой рыжих волос и нездоровым интересом к марсианам – писал это предложение на доске едва не на каждом занятии, и мы должны были обсудить, почему оно нетривиально. А снег за окном становился все глубже и глубже. *Вы, марсиане, которые так любят форму и логику, что делаете вы здесь, в такой дали от дома?*

В отличие от философии языка и других моих курсов, включая психолингвистику, синтаксис и фонетику, начальный русский показался мне глубоко человеческой дисциплиной. Ведь я ожидала, что лингвистика (общая наука о языке) будет вроде истории с сюжетом, а русский (изучение конкретного языка) – вроде набора правил, но на деле все оказалось ровно наоборот. Первые несколько месяцев на уроках русского мы проходили оригинальный текст

под названием «История Веры». Начинаясь он с того, что студентка-физик выпускного курса Вера идет к своему парню, однокласснику Ивану. Того нет дома, а ее ждет записка «Забудь меня». «Почему мы никогда его не понимали?» – вздыхает отец Ивана и захлопывает дверь у Веры перед носом. В этих первых главах использовался удивительно небольшой набор слов и простая грамматика. По мере развития сюжет заполнялся деталями – вместе с недостающими падежами и временами, – то есть знание сопровождалось средствами его выражения. Благодаря этому начальный русский в моих глазах проявил себя как совершенный язык, где форма идеально отражает содержание.

Как выяснилось, Иван сбежал в Сибирь, чтобы работать в лаборатории у дяди, и там женился. Вера поехала к нему и в такси по дороге из новосибирского аэропорта влюбилась в другого физика. В последней главе Вера на физической конференции представляет доклад, который признают «последним словом в науке». Присутствующий на конференции Иван поздравляет ее, он готов дать объяснения своим поступкам, но Веру это больше не беспокоит.

Татьяна и Онегин, Анна и Вронский, Иван и Вера – на каждой ступени оказывалось, что природа любви и загадки человеческого поведения переплетены с русским языком. Эта ассоциация стала еще сильнее, когда я сама влюбилась в одного из одноклассников по русским занятиям, студента-математика, который еще в детстве за «железным занавесом» немного изучал русский. По-русски его звали Валя – близко по звучанию к его венгерскому имени. Он учился на последнем курсе и собирался провести лето в Будапеште, а затем отправиться в аспирантуру Беркли. Я же училась только на первом, и поэтому было понятно, что после июня мы уже никогда больше не увидимся, но Валя каким-то образом нашел мне летнюю работу в благотворительной организации, которая отправляла американских студентов преподавать английский в венгерских деревнях.

В Вале была какая-то загадка, недосказанность, и позже выяснилось, что у него – как у Ивана из учебника по русскому – есть девушка, о которой я ничего не знала и на которой он потом женился. К тому времени, когда тайна раскрылась, отказываться от венгерских деревень было поздно, и я поехала. Но – подобно Татьяне, читающей сонник – я уже знала, что мне уготовано «печальных много приключений».

В деревне Каль я жила в очень доброй семье, они возили меня смотреть местные достопримечательности, связанные, в основном, с победами над османскими захватчиками. Я преподавала английский семь часов в день, эта работа оказалась интересной, но изнурительной. Первые две недели я Вале не звонила. На третью неделю деревня отправила меня в детский лагерь в восхитительном историческом городке на Дунае. Все сотрудницы спали в одном домике – я, молодая учительница английского и пять тренерш. Кто-то неведомый намертво внушил организаторам, будто я, поскольку американка, питаюсь только кукурузой и арбузами. Мне несли и несли банки кукурузы и почти по целому арбузу ежедневно; в нашем домике их ела только я. У меня не было формальных обязанностей, и за мной постоянно следовала группа венгерских неутомимых девчушек, которые – как только у них выдавалась свободная минутка – мягко настаивали, чтобы я играла с ними в бадминтон или заплетала им косы.

Я переносила все это нормально, пока не наступил субботний вечер и наши тренерши не организовали особое мероприятие – конкурс мальчишеских ног.

«Судить конкурс будет американская девушка!» – объявили они. Я продолжала лелеять надежду, что не так их поняла – даже когда зазвучало немецкое техно и все мальчишки из лагеря в возрасте от восьми до четырнадцати с номерами на шортах выстроились за ширмой, закрывающей их выше талии. Мне выдали планшет с формой, куда нужно вносить оценки ног по десятибалльной системе. Охваченная паникой, я уставилась на планшет. В моем жизненном или учебном опыте не было ничего, что подготовило бы меня к судейству на конкурсе подростковых ног. В итоге учительница английского, которая, кажется, поняла неловкость моего

положения, нашептала мне какие-то собственные очки, и я записала их в форму, будто выбрала сама.

На следующий день, в воскресенье, я сидела в домике одна и читала, как вдруг кто-то вломился в дверь. Это оказался вчерашний победитель, четырнадцатилетний сорвиголова Габор, у которого левая нога-лауреат вся была в крови.

– Помоги, пожалуйста, – попросил он, протягивая аптечку.

Осмотр выявил на его колене длинную рваную рану. Я открыла аптечку, успешно опознала пузырек с йодом, но тут в комнату вошли две тренерши.

– Лукач Габор, отстань от американки! – закричали они и, отведя мальчишку в сторону, профессиональными движениями дезинфицировали и перебинтовали ему колено. Ко мне подошла англичанка: «Он кое-что от тебя хочет», – мрачно произнесла она.

Как только в обед принесли мой арбуз, я улизнула на станцию, купила карточку и позволила по будапештскому номеру Валиных родителей. Валя спросил, где я. Через два часа они с матерью приехали на ее «опеле» с привязанной к крыше байдаркой. Мать решила, что лодочная прогулка по Дунаю нас развлечет. Она уехала, а мы и в самом деле целых семь часов гребли на байдарке до Будапешта. Вокруг нас по воде скользили баржи с восьмиосными грузовиками. Судя по всему, в выходные грузовики на будапештских улицах запрещены.

В Будапеште мы не нашли пристань и в итоге причалили в каком-то болоте. Валя подтянул байдарку к берегу, помог мне вылезти и отправился искать телефон-автомат. Предполагалось, что с байдаркой остаюсь я.

– Вернусь минут через пятнадцать-двадцать, – сказал он.

...Солнце спряталось за доисторические с виду деревья, и на мир опустилась жидкая синева. Вали не было уже два часа, которые я провела, охраняя байдарку. От кого? И какими силами? Присмотрев неподалеку иву, я стала обдумывать возможность спрятать байдарку в ее ветвях, но отказалась от этой идеи. За все время единственными замеченными мною разумными существами оказались мужик с четырьмя козами – все пятеро не обратили ни малейшего внимания ни на меня, ни на байдарку – и еще двое полицейских. Присмотрев меня, они остановили свои мопеды и попытались говорить со мной по-венгерски. Я поняла только вопрос, не бездомная ли я. «У вас есть *какой-нибудь дом?*» – громко спросили они, а один из них сложил у себя над головой руки, изображая островерхую крышу.

– Мой друг ушел искать телефон, – сказала я. Как ни странно, это объяснение их, видимо, удовлетворило.

– Хорошо, хорошо, – они уселись на мопеды и уехали.

Я достала из сумки ручку с блокнотом и попыталась написать в темноте записку, что не могу больше сторожить байдарку, но тут услышала приближающийся топот. Шаги становились громче, и подле меня приземлился Валя – задыхающийся, в рваной и грязной рубаше. Он пробежал по полям много километров, спасаясь от дикой собаки. «Должно быть, он из тех мужчин, которые любят женщин», – помнится, подумала я.

На другой день он отвез меня обратно в лагерь, сделав остановку у тайского консульства забрать визу: завтра он уезжал на математическую конференцию. Попрощавшись, я побродила еще пару часов по нашему историческому городку, осматривая сербские кладбища и церкви. Но нужно было возвращаться в лагерь. У ворот меня встретила учительница английского, следом шел забинтованный чемпион по ногам.

– Ты... *болталась без дела*, – укоризненно произнесла она.

– У тебя крутая прическа, – сказал Габор.

– Вовсе нет! – отрезала англичанка.

Сегодня мне все это кажется типичным ходом вещей – так бывает всегда, когда пытаешься проследить жизнь. События и места следуют одно за другим, словно пункты в списке

покупок. Некоторые части опыта могут оказаться занимательными и волнующими, однако в своем натуральном виде они точно не годятся для хорошей книги.

Когда я осенью вернулась на учёбу, мне больше не хотелось никакой лингвистики: она меня разочаровала, она ничего не объяснила мне ни о языке, ни о его смыслах. Но я продолжала учить русский. Казалось, русский – единственное место, где можно найти объяснения тому, что со мной произошло. Даже записалась на ускоренные занятия. Через два года – за это время я мимоходом прочла всего семь или восемь романов – мне пришлось готовиться к получению степени по литературе: специализация с минимальными требованиями, если не считать фольклор и мифологию.

Из тех немногочисленных теоретических текстов, которые я прочла как студент-филолог, сильное впечатление на меня произвело короткое эссе о «Дон Кихоте» из книги Фуко «Слова и вещи», где высокий, худой, странного вида идальго уподобляется знаку: «С его длинным и тощим силуэтом-буквой он кажется только что сбежавшим с раскрытых страниц книг»⁴. Я тут же прикинула это описание на себя, поскольку «элиф» – на турецком «алиф» или «алеф», первая буква арабского и еврейского алфавитов, – изображается на письме прямой линией. Родители выбрали это имя, поскольку я была необычайно длинным и тощим младенцем: родилась на месяц раньше срока.

Снова я вспомнила эссе Фуко, наткнувшись на психологическое исследование о склонности американцев выбирать профессии, созвучные их именам. Например, среди дантистов широко представлено имя Деннис, а в рядах геологов и геофизиков – непропорционально большое число Джорджей и Джеффри. В исследовании это явление объясняется «имплицитным эготизмом», «позитивными большей частью чувствами», которые люди испытывают к своему имени. Интересно, есть ли на отделениях стоматологии Деннисы, оказавшиеся там по иным мотивам: из тайного желания подстроить условность языка в тон физической реальности. Возможно, это меня и привлекло в эссе о Дон Кихоте: оно подсказало способ сформулировать в реалиях мира то, что скрывается за моим именем. И это ожидание вполне уместно, поскольку главная идея эссе такова: решив доказать, что он – такой же рыцарь, как персонажи рыцарских романов, и что мир, в котором он живет, – это арена для подтверждения героизма, Дон Кихот выдвигается в путь, дабы найти – или создать – сходства между словом и миром. «Стада, служанки, постоянные дворы остаются языком книг в той едва уловимой мере, в которой они похожи на замки, благородных дам и воинство», – пишет Фуко.

Я поняла, что Дон Кихот разрушил бинарную оппозицию «жизнь – литература». Он жил *жизнь и* читал книги, он жил *через* книги, создавая тем самым книгу еще более чудесную. Сам же Фуко между тем разрушил мои представления о теории литературы, но он отнюдь не снижал многогранность и красоту, он их создавал. Интерес к истине пришел ко мне лишь позднее, а вот красота уже тогда стала затягивать меня в литературоведение.

После выпуска я планировала сесть за роман, но роман требует времени, а время дорого. И я предусмотрительно решила подать заявления на докторские программы. Магистратуру искусств не рассматривала, поскольку знала, что там заставят платить за обучение и ходить на семинары. Все мои сомнения насчет пользы чтения и анализа серьезных романов удваивались, если речь шла о творениях детишек вроде меня. Однако я отправила заявление в художественный лагерь на Кейп-Коде. К моему удивлению, мне предложили место в секции художественной литературы – благодаря семидесятистраничной повести, которую я написала от лица собаки.

В один из дождливых и ветреных мартовских дней я взяла напрокат машину и отправилась на Кейп-Код посмотреть, что это за контора. Лагерь располагался на территории доисто-

⁴ М. Фуко. Слова и вещи. Пер. В. Визгина (примеч. пер.).

рической лесопилки. По грязным деревянным мосткам я добралась до похожего на судно дома и застала там человека, который снимал на видео агрегат, предназначенный, судя по всему, для выгрузки бетона из цистерны на пол. На мой вопрос, где найти писателей, он махнул рукой в сторону проливного дождя за окном.

Писателей я обнаружила сидящими кучкой в трейлере вокруг обогревателя; они были в клетчатых рубашках и очках в пластиковой оправе. Директор программы, сероглазый, продутый всеми ветрами местный писатель романтической наружности, проявил ко мне удивительную доброту, особенно если учесть, что я – всего лишь человек двадцати одного года, написавший повесть от лица собаки. Тем не менее мы многого с ним не разделяли. Мы не совпадали по приоритетам и мировоззрению.

– Чем ты станешь заниматься, если передумаешь сюда ехать? – спросил он. Я рассказала, что подала заявление в несколько аспирантур. Повисла долгая пауза. – Что ж, хочешь заниматься наукой – иди в аспирантуру, – наконец сказал он. – А хочешь стать писателем – приезжай сюда.

Мне хотелось быть писателем, а не ученым. Но когда в тот день я стояла под шумным металлическим навесом на парковке у побережья и поедала бутерброды с арахисовым маслом, сделанные в кафетерии за завтраком, меня настигло окончательное разочарование в трансценденталистской культуре «литературного творчества». В этой культуре Новой Англии – к ней принадлежит и кейп-кодский лагерь – академическое изучение литературы считается вредным для формирования писателя. Интересно, какой именно механизм, размышляла я, делает его «вредным»? И наоборот: почему полезной для писателя автоматически считается жизнь в амбаре вкупе с чтением авторов, которых не читает никто, кроме начинающих?

Я отказалась от места в программе. Директор лагеря прислал мне пожелания удачи на открытке с фотографией парусника. Моему тогдашнему парню Эрику предложили работу конструктора разведывательных радиолокационных приемников в Кремниевой долине, а мне – пятилетнюю стипендию на стэнфордском отделении сравнительного литературоведения. Мы перебрались в Калифорнию, где я раньше никогда не бывала. Под зелеными покатыми холмами через самый длинный в мире линейный ускоритель неслись позитроны, а в башнях высоко над пальмами хранился полный архив парижских досье российской императорской тайной полиции. Стэнфорд был полной противоположностью северо-восточной лесопилке.

В течение многих лет я не особо задумывалась о сделанном выборе между писательством и литературной критикой. В 2006 году журнал «N+1» попросил меня подготовить материал о состоянии современного американского рассказа по антологии «Лучший американский рассказ» за 2004 и 2005 годы. Только тогда – перелистывая страницы во имя науки – вспомнила я пустоту, которую ощутила в тот дождливый день на Кейп-Коде.

Мне пришла в голову мысль о пуританской культуре литературного творчества, олицетворяемой творческими лагерями, семинарами и идеалом «ремесла». Я решила, что предпочитаю думать о литературе как о профессии, искусстве, науке, как много о чем еще, но только не как о ремесле. Разве ремесло может рассказать о мире, о человеческой природе или о поисках смысла? У ремесла всегда был только отрицательный диктат: «Не говори, а показывай», «Убери любимые строчки», «Удали избыточные слова». Будто писать – это значит преодолевать вредные привычки, удалять избыточное.

Думаю, именно диктат ремесла выхолостил многие из «Лучших американских рассказов», сведя их к почти нечитабельному ядру из бодрых глаголов и образных существительных, словно это – задание на конкурсе по определению максимального числа понятий с помощью минимального набора слов. Первые предложения обычно так напичканы своеобразием, оговорками, обманом ожиданий и мелкими противоречиями, что ты уже не удивишься, если вдруг обнаружишь в тексте форму акростиха или узнаешь, что перед автором стояла задача,

скажем, не употреблять букву «е». Все эти рассказы начинаются *in medias res*, с середины истории. И почти все подчиняются принципу шести вопросов: «кто это был?», «что случилось?», «когда случилось?», «где случилось?», «почему случилось?» и «как случилось?»⁵.

Повышенное стремление к краткости и конкретизации приводит к тому, что особую ценность приобретают имена собственные – и они летят в тебя, словно из автомата для теннисных мячей: Джулия, Джульетта, Виола, Вioлетта, Расти, Лефти, Карл, Карла, Карлтон, Мейми, Шари, Шарон, Гибискус Сирийский (индеец), Хасан⁶. За каждым именем скрывается тайный расчет, оценка соотношения между достоверностью и точностью: на одном полюсе – Джон Бриггс и Джон Хиллман, а на другом – Сибилла Милдред Клемм Легран Паскаль, которая просит, чтобы читатель называл ее «мисс Сибби». На одном – кот по имени Кинг Спанки, на другом – кот по имени Кот. И в каждом из этих случаев результат выглядит фальшиво, надуманно – в отличие от двух Алексеев у Толстого или от чеховских персонажей, многие из которых вообще без имени. В «Даме с собачкой» жена Гурова, муж Анны, приятель Гурова по клубу и даже сама собачка остаются безымянными. *Никто из авторов современных американских рассказов не набрался бы смелости оставить собачку без имени.* Они слишком озабочены попытками притянуть имя собственное к полной особого смысла индивидуальной сущности – как та «сострадательная» врачиха из сериала, которая напоминает своим коллегам: «У нее есть имя».

Но имена так не работают. Как пишет Деррида, самобытность имени собственного неотделима от его универсальности: всегда должна быть возможность присвоить одной вещи название любой другой и назвать разных людей – как в «Анне Карениной» – одинаково. Главное внутреннее противоречие имени состоит в том, что с его помощью можно обозначить конкретное лицо и в то же время нельзя. Я человек, который поддерживает на минимуме число визитов на планету Деррида – на землю, где все второстепенные с виду явления вдруг становятся важнейшими, а любые ваши помыслы о действии – актом насилия просто по той причине, что мысленно вы употребляли слова, знакомые Аристотелю. Тем не менее я чувствую, что в отношении имен Деррида был прав. И самое главное, он по-настоящему *думал* об именах, об их специфике, и поэтому «О грамматологии» – хоть это чтение и не менее тягостно, чем «Лучший американский рассказ» – все же принадлежит к дискурсу, где делаются попытки понять суть вещей.

Литературоведческий дискурс уязвим для обвинений в самодостаточности и герметизме – не менее чем цех литературного творчества, – но у него есть одно серьезнейшее преимущество: он коллективен по своей природе. Каждый литературоведческий труд должен строиться на существующем наследии и увеличивать общую сумму осмыслений. Это не заполнение своего дома все новыми и новыми милыми плетеными корзинами. Это накопление с верой в прогресс.

Цех же литературного творчества, напротив, лишь *кажется* коллективным, в то время как в действительности там нет никаких коллективных *процессов* и любые намеки на подобные процессы систематически удаляются из конечного продукта. В современных рассказах практически нет отсылок к тем или иным интересным работам последних двадцати, пятидесяти, ста лет; вместо этого дамы из среднего класса по-прежнему ведут битву с клептоманией, девиантные подростки по-прежнему попадают в специальные учреждения, народ по-прежнему стра-

⁵ Например: «Наутро после отчаянного звонка внучки Лоррейн пропустила свой обычный кофейный сеанс в „Лаймстоун Лайнер“ и сразу отправилась на место происшествия»; «Грейвзу нездоровилось уже третий день, когда на длинном прямом шоссе между Мазаром и Кундузом от встречного темно-синего грузовика отлетело заднее колесо посреди снопа оранжево-желтых искр».

⁶ В каждой из антологий «Лучший американский рассказ» за 2004 и 2005 годы есть текст об исламском мире, и в каждом из этих текстов есть персонаж по имени Хасан.

дает от блэкаутов и стихийных бедствий, а унылые, похожие на писателей типы по-прежнему терзаются сомнениями.

Не знаю, попала ли я в лагерь ученых из-за аспирантуры, или же я оказалась в аспирантуре из-за того, что в душе уже тогда примкнула к ученым. Как бы то ни было, я перестала считать, будто «теория» способна погубить в человеке литературу или что любимый предмет можно скомпрометировать его исследованием. Разве любовь – настолько поверхностная вещь? Разве главное в любви не то, что она заставляет тебя узнать больше, полностью погрузиться, стать одержимым?

Не могу сказать, что аспирантура далась мне легко, особенно поначалу. Мне посчастливилось сразу подружиться с одногруппницей Любой, русской эмигранткой, выросшей в Ташкенте. Знакомство с таким прекрасным человеком в столь сложный момент моей карьеры было огромной удачей. Между семинарами об одной безвестной эксцентрической школе русского кино двадцатых годов, в чьих фильмах фигурировали цирковые атрибуты и резиновые манекены в человеческий рост, мы подолгу гуляли по жилому комплексу для аспирантов, неизменно теряя дорогу; однажды даже свалились в какую-то канаву. Подобно герою Манна в первые недели на Волшебной горе, я думала: «Это не может длиться долго».

По сути дела – между занятиями, конференциями, преподаванием и бесконечными ланчами – мне стало понятно, что кроме стэнфордских курсовых работ я ничего здесь не получу. В конце года я подала заявление на академический отпуск и уехала в Сан-Франциско, где в перерывах между случайными подработками много писала. Однако то, что получилось в результате, романом назвать было нельзя. Он не имел ни начала, ни конца. Да и особого сюжета там тоже не было. Я удивлялась и не могла понять. О писательском кризисе я уже побеспокоилась загодя, но создание огромного «неромана» не входило в число возможных решений.

13 сентября 2001 года, направляясь на пробежке к мосту Золотые ворота, я как раз обдумывала эту проблему, когда вдруг грохнулась, наткнувшись на какой-то пластиковый барьер, возведенный, как я позднее узнала, для защиты моста от террористов. Другие бегуны помогли мне подняться. Странные ощущения в руке заставили меня обратиться в ближайшую больницу. Несколько часов я провела в приемном покое, телевизор под потолком показывал бесконечные кадры с телами, их вытаскивали из-под Всемирного торгового центра. Наконец я прошла в кабинет, где врачи извлекли из коленей мелкий гравий, сделали рентген руки, сообщили о переломе локтя и экипировали меня гипсом с подвеской. В счете стояло 1700 долларов. Этот опыт заставил меня взглянуть на текущий жизненный путь пристальнее и трезвее. Чем я занимаюсь? Беспечно сучусь в мире, о котором у меня нет ни малейшего внятного представления, пишу бесконечный роман бог знает о чем, без медстраховки, без настоящей работы? Через неделю позвонил завкафедрой и спросил, не хочу ли я вернуться в Стэнфорд. Я ответила «да».

Тогда-то меня и затянуло – глубже, чем я могла ожидать. Название этой книги позаимствовано у Достоевского: его самый таинственный роман «Бесы» раньше на английский переводился как «The Possessed», «Одержимые». Там повествуется о том, как кружок интеллектуалов в далекой русской провинции постепенно впадает в безумие: ситуация, в некотором смысле аналогичная моему собственному опыту в аспирантуре.

Я вернулась в реальный мир с новым взглядом на многие вещи. Мне больше не казалось, будто романы должны и могут вдохновляться исключительно жизнью, а не другими книгами. Я уже понимала, что сама эта идея порождена литературой, что именно традиция европейского романа после «Дон Кихота» произвела тезис о лживости и бесплодности литературы, ее оторванности от настоящей жизни и настоящего образования.

На самом деле нельзя сказать, чтобы эта идея в «Дон Кихоте» однозначно присутствовала. Вспомним знаменитый эпизод о «книжной инквизиции», где священник и цирюльник пытаются вылечить рыцаря от безумия, очистив его библиотеку. Общепринятая версия этого эпизода – в том, что друзья Дон Кихота сжигают большую часть его книг, и она зеркально отражает идею самого произведения: рыцарские романы глупы и опасны. Но если вы подсчитаете, то увидите, что лишь четырнадцать из тридцати упомянутых книг подверглись сожжению, тогда как другим шестнадцати было даровано официальное помилование. Это равенство показывает баланс между жизнью и литературой в сюжете книги, который – как отмечает Фуко – состоит в «дотошных поисках по всему лику земли тех фигур, которые доказали бы, что книги говорят правду». Приключения Дон Кихота, его дружба с Санчо Пансой, участие в воссоединении влюбленных, веселье, которое он доставляет бесконечным скучающим испанцам, – все это не в меньшей степени, чем причиняемый им ущерб, происходит от решимости испытать жизнь такой, какой она знакома ему из любимых книг, повести книги в бой. «Дон Кихота» мог написать только человек, который по-настоящему любит рыцарские романы, по-настоящему хочет, чтобы их сходство с его жизнью было сильнее, и понимает, в какую цену это может выйти.

Размышляя о «Дон Кихоте», я задумалась о других возможных способах приблизить жизнь к любимым книгам. После Сервантеса типичным романическим приемом стала имитация: персонажи стараются походить на героев книг, которые они считают важными. Но что, если попробовать другой путь, что, если заменить имитацию изучением, а метафору – метонимией? Что, если – вместо того чтобы разъезжать по округе, притворяясь Амадисом Галльским – посвятить свою жизнь тайне авторства этой книги, выучить испанский и португальский, разыскать всех ученых-специалистов, разгадать, что имеется в виду под «Галлией» (большинство исследователей полагают, что это Уэльс или Бретань), что, если проделать все это самому вместо создания вымышленных персонажей? Что, если написать книгу и в ней все будет правдой?

Что, если после чтения «Утраченных иллюзий» – вместо того чтобы уехать в Нью-Йорк, поселиться в мансарде, издавать собственные стихи, писать книжные обзоры и предаваться любовным связям, вместо того чтобы прожить собственную версию «Утраченных иллюзий» ради написания такого же романа, только про Америку XXI века – что, если вместо всего этого вы отправитесь в дом Бальзака и в имение госпожи Ганской, прочтете каждое написанное им слово, раскопаете о нем все что можно, до последней мелочи, и *лишь после этого* сядете за литературную работу?

Вот в чем идея этой книги.

Бабель в Калифорнии

Когда Российская академия наук издает собрание сочинений того или иного автора, это будет отнюдь не книжка, которую на ходу бросаешь в чемодан. Приуроченное к новому тысячелетию издание Толстого состоит из сотни томов, и весом оно с новорожденного кита. (Я принесла в библиотеку свои напольные весы и взвешивала по десять томов за раз.) Достоевский вышел в тридцати томах, Тургенев – в двадцати восьми, Пушкин – в семнадцати. Даже у Лермонтова, поэта-лирика, убитого на дуэли на двадцать восьмом году жизни, – четыре тома. Во Франции по-другому, там академические издания печатают на тонкой «библейской» бумаге. «Библиотека Плевада» умудрилась запихнуть всю «Человеческую комедию» в двенадцать томов плюс еще два тома – на остальные работы Бальзака, и весит это всё восемь килограммов.

Собрание сочинений Исаака Бабеля занимает всего два небольших тома. Рядом с Толстым – это как длинная дорога и карманные часы. Самые популярные работы Бабеля напечатаны в первом томе: рассказы об Одессе, детстве и Петербурге, «Конармия» и конармейский дневник 1920 года. Эта компактность ощущается особенно остро, если знать, что до нас дошли далеко не все его работы. Когда в 1939 году к Бабелю на дачу приехали из НКВД, первое, что он сказал: «Не дали закончить». Девять папок изъяли и конфисковали на даче и еще пятнадцать – в его московской квартире. Самого Бабеля тоже изъяли и конфисковали по обвинению в шпионаже в пользу Франции и даже Австрии. Ни его, ни рукописей больше никто не видел.

В последующие годы опубликованные работы Бабеля были изъяты из библиотек, а его имя вычеркнуто из энциклопедий и кинотитров. Ходили слухи, будто его содержат в специальном лагере для литераторов, где он пишет в лагерную газету, но никто не знал наверняка, жив ли он. В 1954 году после смерти Сталина его официально реабилитировали и рассекретили уголовное дело. Внутри был всего один листок – свидетельство о том, что 17 марта 1941 года он умер при неизвестных обстоятельствах. Подобно Шерлоку Холмсу в «Последнем деле», Бабель исчез, оставив после себя лишь листок бумаги.

Никто не знает, за что Бабеля арестовали на самом деле. Опубликовав в начале своего писательского пути «Конармию», которая увековечила бездарную русско-польскую военную кампанию 1920 года, он нажил могущественных врагов. В 1924 году командующий Первой Конной армией Семен Буденный публично обвинил Бабеля в «контрреволюционной лжи» и очернительстве. Позднее, когда Буденный поднялся по партийной лестнице от маршала до замкомиссара обороны и стал Героем Советского Союза, Бабель оказался на тонком льду, особенно после того, как в 1936 году скончался его покровитель Максим Горький. Тем не менее он пережил пик чисток 1937–1938 годов; арестовали его лишь в 1939-м, когда на горизонте уже маячила Вторая мировая и у Сталина, казалось бы, появились дела поважнее. Что же склонило чашу весов?

Возможно, свою роль сыграл советско-германский пакт: до этого, благодаря тесным связям Бабеля с французскими левыми, его фигура была важна для поддержки советско-французских дипломатических отношений, что потеряло смысл после того, как Сталин встал на сторону Гитлера. По другим сведениям, арест Бабеля был частью подготовки к завершающему показательному суду над всей интеллектуальной элитой – от легендарного режиссера Сергея Эйзенштейна до ученого-полярника Отто Шмидта, – который передумали устраивать, когда Гитлер в сентябре вошел в Польшу.

Некоторые исследователи связывают арест Бабеля со странными отношениями между ним и бывшим наркомом Николаем Ежовым: у Бабеля в двадцатые годы был роман с будущей женой Ежова Евгенией Гладун-Хаятиной. Говорили, что уже в тридцатые Бабель навещал супругов у них дома, они играли в кегли и слушали жуткие истории Ежова о ГУЛАГе. Когда

Лаврентий Берия («мясник Сталина», как его называли) получил в 1938 году власть, он поставил своей целью уничтожить всех, кто имеет хоть какое-то отношение к Ежову.

Другие считают, что Бабеля арестовали «вообще без всяких причин» и что полагать обратное – впадать в грех приписывания логики тоталитарной машине.

Когда в девяностые годы КГБ рассекретил дело Бабеля, стало известно, что ордер на его арест выписали постфактум через тридцать пять дней. После семидесяти двух часов допросов и, скорее всего, пыток Бабель подписал признание, что в шпионскую сеть его завербовал в 1927 году Илья Эренбург и что он годами снабжал Андре Мальро секретами советской авиации – эта деталь была, наверное, позаимствована из его киносценария «Старая площадь, 4» (1939), где описываются византийские интриги среди ученых на производстве советских дирижаблей.

«Я невиновен. И никогда не был шпионом, – говорит Бабель в стенограмме двадцатиминутного „суда“ в застенках Берии. – Я оговорил себя. Меня заставили дать ложные показания против себя и других... Прошу об одном: позвольте мне завершить работу». Бабеля расстреляли в подвале Лубянки 26 января 1940 года, а его тело бросили в общую могилу. 1940-й, а не 1941-й. Даже свидетельство о смерти оказалось ложью.

Впервые я прочла Бабеля в колледже на занятиях по литературному творчеству. Преподавателем был благожелательный еврей-романист с бородкой как у Иисуса, с тягой к русской литературе и с меланхоличным чувством юмора; однажды прямо на уроке он вдруг «осознал» истину о человеческой смертности. Он показывал на каждого из нас, сидящих за круглым столом, и говорил: «*Вы* умрете. И *вы* умрете. И *вы*». До сих пор помню выражение лица одного из моих однокашников, добродушного отпрыска семейства Кеннеди, который все время писал одну и ту же историю – о вечно занятом корпоративном юристе, забросившем свою жену. Лицо было обалделым.

На том занятии нам задали прочесть «Моего первого гуся», рассказ о первой ночи еврейского интеллигента в распоряжении Красной армии во время кампании 1920 года. Он приходит на постой, и новые товарищи, безграмотные казаки, первым делом вместо приветствия выбрасывают за ворота его сундучок. Заметив шатающегося по двору гуся, интеллигент наступает ногой ему на шею, пронзает саблей и приказывает хозяйке приготовить на ужин. Тогда казаки признают в нем своего и дают ему место у костра, где он им вслух читает ленинскую речь из «Правды».

Прочтя этот рассказ впервые, я абсолютно ничего не поняла. Зачем надо было убивать гуся? Что такого замечательного в чтении Ленина у костра? Из рассказов, которые мы проходили на тех занятиях, меня куда глубже взволновала чеховская «Дама с собачкой». Особенно запомнился пассаж, что человек ведет две жизни: одну – открытую и видимую, заполненную работой, условностями, обязанностями, шутками, и другую – «протекающую тайно», и насколько легко могут обстоятельства сделать все существенное, интересное, необходимое частью именно второй, тайной жизни. На самом деле тема тайной жизни для Бабеля тоже чрезвычайно важна, но я поняла это лишь позднее.

Второй раз я читала Бабеля в аспирантуре перед семинаром по литературным биографиям. Это были дневники 1920 года и «Конармия»; я прочла их в один присест, пока в февральскую дождливую субботу пекла торт «Черный лес». Для потомков Бабель увековечил военный позор бездарной русско-польской кампании, а для меня – кулинарный позор этого торта, который на выходе из печки напоминал старую шляпу: после того как я оптимистично вылила на торт половину двухдолларовой бутылки киршвассера, органы чувств опознали в нем старую шляпу, замоченную в сиропе от кашля.

Есть книги, которые запоминаются вместе с материальными условиями чтения: сколько чтение заняло, время года, цвет обложки. Зачастую книга запоминается именно благодаря этим

материальным условиям, но иногда – наоборот. Я уверена, что мои воспоминания о том дне – запах дождя и печеного шоколада, унылая квартира с ее надувной кроватью, раздвижная стеклянная дверь, через которую видны мокрые пальмы и парковка у супермаркета «Сэйфвэй», – обусловлены дневником Бабеля, драгоценным и полуутраченным.

Дневник начинается с пятьдесят пятой страницы – предыдущие пятьдесят четыре Бабель потерял. Через три дня отсутствует еще двадцать одна страница, а это целый месяц. «Спал плохо, думаю о рукописях, – пишет Бабель. – Тоска, упадок энергии; знаю, что превозмогу, когда это будет?» В следующие несколько дней, несмотря на усилия, все вокруг напоминает ему об утерянных страницах: «Крестьянин (Парфентий Мельник, тот самый, что служил на военной службе в Елисаветполе) жалуется, что лошадь распухла от молока, забрали от жеребенка, тоска, рукописи, рукописи...»

Этот дневник – не о войне, а о писателе на войне, о писателе, захлебывающемся войну как источник материала. Виктор Шкловский, который изобрел теорию о том, что литературный материал всегда вторичен по отношению к литературной форме, был большим поклонником Бабеля. «У него не было отчуждения от жизни. Но мне казалось, что Бабель, ложась спать, подписывает прожитый им день, как рассказ». У Бабеля не было отчуждения от жизни – напротив, он к ней стремился, – но он был неспособен воспринимать ее иначе как материал для литературы.

Эпиграфом к дневнику могла бы послужить знаменитая фраза из «Дон Кихота»: «... читаю все подряд, даже клочки бумаги, подобранные на улице»⁷. В Бродях, после погрома, в поисках овса для лошади, Бабель набредает на немецкую книжную лавку: «Великолепные неразрезанные книги, альбомы... хрестоматия, история всех Болеславов... Тетмайер, новые переводы, масса новой национальной польской литературы, учебники. Я роюсь как сумасшедший...» В разграбленном польском поместье, в гостиной, где лошади стоят прямо на коврах, он находит сундук с «драгоценнейшими книгами»: «Конституция, утвержденная сеймом в начале XVIII века, старинные фолианты Николая I, свод польских законов, драгоценные переплеты, польские манускрипты XVI века, записки монахов, старинные французские романы... Французские романы на столиках, много французских и польских книг о гигиене ребенка, интимные женские принадлежности разбиты, остатки масла в масленице, молодожены?» В покинутом польском замке он обнаруживает «французские письма 1820 года, *notre petit héros achève 7 semaines* [нашему маленькому герою исполняется семь недель]. Боже мой, кто писал, когда писали...»

Эти материалы дополнены подробностями и влиты в «Конармию» – например, в новелле «Берестечко» рассказчик тоже находит в польском замке французское письмо: «Paul, mon bien aime, on dit que l'empereur Napoleon est mort, est-ce vrai? Moi, je me sens bien, les couches ont été faciles, notre petit héros achève sept semaines...» [*Поль, мой любимый, говорят, что император Наполеон умер, правда ли это? Я чувствую себя хорошо, роды были легкие, нашему маленькому герою исполняется семь недель*]. Из фразы «*notre petit héros achève 7 semaines*» Бабель магически воссоздает время с его всеобъемлющей ненадежностью, с аккуратно вписанными в человеческую историю фрагментами – как семинедельный младенец или ложные слухи о смерти Наполеона.

Прочитав после дневника всю «Конармию», я поняла «Моего первого гуся». Поняла важность той детали, что в сундучке, выброшенном казаками за ворота, лежали рукописи и газеты. Поняла, что это значило для Бабеля – читать Ленина казакам вслух. Это было первое агрессивное столкновение писательства с самой жизнью. Как и большая часть «Конармии», «Мой первый гусь» рассказывает о цене, которую заплатил Бабель за свой литературный материал. Осип Мандельштам однажды спросил у Бабеля, почему того тянет к чекистам, к людям вроде

⁷ М. де Сервантес Сааведра. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Пер. Н. Любимова (примеч. пер.).

Ежова: «„Распределитель, где выдают смерть? Вложить персты?“ – „Нет, – ответил Бабель, – пальцами трогать не буду, а так потяну носом: чем пахнет?“» Но, разумеется, потрогать ему пришлось. Пришлось своими руками проливать кровь – пусть даже и просто гуся. Без этой крови он никогда бы не написал «Конармию». «Бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, – говорит один из рассказчиков у Бабея, – мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть».

Императив понять жизнь и описать ее становится в дневнике 1920 года настоящим, эмоциональным рефреном.

«Описать ординарцев – наштадива и прочих – Черкашин, Тарасов».

«Описать Матяжа, Мишу. Мужики, в них хочется вникать».

Когда бы и с кем бы Бабель ни познакомился, ему нужно было выяснить, что это за человек. Всегда «что», а не «кто».

«Что такое Михаил Карлович?» «Что такое Жолнаркевич? Поляк? Его чувства?»

«Что такое бойцы?» «Что такое наш казак?» «Что такое большевизм?»

«Что такое Киперман?.. Описать его штаны».

«Описать должность военного корреспондента, что такое военный корреспондент?» (Когда Бабель писал это предложение, он, строго говоря, уже сам был военным корреспондентом.)

Порой в вопросе уже содержится ответ – когда, например, он спрашивает у Винокурова: «Что такое этот прожорливый и жалкий высокий юноша с мягким голосом, увядшей душой, острым умом?»

«Что такое Гришук, покорность, тишина бесконечная, вялость беспредельная. 50 верст от дому, 6 лет не был дома, не убегает».

«Иду на мельницу. Что такое водяная мельница? Описать».

«Описать леса».

«Пара тощих лошадей, о лошадях».

«Описать людей, воздух».

«Описать базар, корзины с фруктами вишень, внутренность харчевни».

«Описать этот непереносимый дождь».

«Описать „частую перестрелку“».

«Описать раненого».

«Описать невыразимое желание спать».

«Обязательно описать прихрамывающего Губанова, грозу полка».

«Описать Бахтурова, Ивана Ивановича и Петро».

«Замок графов Рациборовских. 70-летний старик и его мать 90 лет. Их было всего двое, сумасшедшие, говорят в народе. Описать эту пару».

Бабелевское «описать» напоминает меланхолию, с какой Ватсон говорит о делах Шерлока Холмса, не попавших в его анналы: «дарлингтоновский скандал с подменой», «необыкновенное дело об алюминиевом костыле», «тайна гигантской крысы с Суматры, к которой мир еще не готов». Все эти истории, которые останутся нерассказанными, все эти писатели, которым не дали закончить! Куда утешительнее думать, что обещания уже по-своему выполнены, что Бабель, наверное, уже и так достаточно описал прихрамывающего Губанова, грозу полка, и что тайна гигантской крысы с Суматры в конце концов сводится к тайне гигантской крысы с Суматры. Да, в «Конармии» Бабель возвращается к Рациборовским: «В замке жила девятистолетняя графиня с сыном. Она досаждала сыну за то, что он не дал наследников угасающему роду, и – мужики рассказывали мне – графиня била сына кучерским кнутом». Но, несмотря на

упоминание, в духе Золя, о нарушении потомственности, или на извращенческий, в духе Тургенева, «кучерский кнут», или на проглядывающую советскую риторику о рыцарской Польше, которая теперь «обезумела» (как выразился сам Бабель в одной из пропагандистских работ), «описание» все равно состоит лишь из двух предложений.

* * *

Одна из самых ледящих душу реликвий в досье КГБ на Бабеля – двойное фото, сделанное в 1939 году после ареста.

На фото в профиль Бабель глядит вдаль, подбородок поднят, на лице – мученическая решимость. На фото же анфас видно, что он смотрит на нечто, расположенное рядом. Кажется, что взгляд устремлен на человека, который вот-вот должен совершить чудовищный поступок. Один немецкий историк однажды написал об этих снимках: «На обоих писатель снят без очков и с синяком – *monocle haematoma*, выражаясь по-медицински, – доказательством примененного насилия».

Мне было жаль этого историка. Я поняла, что неадекватность слов «без очков и с синяком» позволила ему написать и такую абсурдную фразу, как «*monocle haematoma*, выражаясь по-медицински». Само отсутствие очков – уже признак неопикуемого насилия. Тут для описания потребовались бы длинные латинские слова. Бабель никогда не фотографировался без очков. И никогда без них не писал. У его рассказчика – как гласит популярная строчка из одесского цикла – всегда «на носу очки, а в душе осень». Другая известная строчка – часть реплики, которую бабелевский рассказчик адресует близорукому товарищу на финском зимнем курорте: «Купите очки, Александр Федорович, заклиная вас!»

В «Моем первом гусе» казачий комдив кричит на еврея-интеллигента: «Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. Поживёшь с нами, што ль?» Очки как раз и олицетворяют намерение Бабеля «пожить» с ними, наблюдая за каждым их движением – внимательно, почти с любовью, – смотреть и записывать. Надежда Мандельштам писала, что в Бабеле все создавало впечатление «необычайного любопытства». «Весь поворот головы, подбородок и особенно глаза Бабеля всегда выражали любопытство. У взрослых редко бывает такой взгляд, полный неприкрытого любопытства. У меня создалось впечатление, что основной движущей силой Бабеля было неистовое любопытство, с которым он всматривался в жизнь и людей». Вот что у него отняли, оставив вместо очков *monocle haematoma*.

На семинары по литбиографиям меня уговорил записаться мой однокашник Матей, который знал профессора.

– Это классический еврей-интеллектуал из Нью-Йорка, – захлеб говорил Матей, словно описывая диловинную лесную зверушку. (Матей был классический католик-интеллектуал из Загреба.) – Когда он рассказывает о Бабеле, то от возбуждения заикается. Но это не раздражает, не мешает. Его заикание обаятельно, оно вызывает расположение и симпатию.

В конце семестра мы с Матеем договорились сделать совместную презентацию о Бабеле. В один из холодных пасмурных дней мы встретились за грязным металлическим столом у библиотеки и, попивая кофе, стали сравнивать свои записи, прикончив почти целую Матееву пачку «Уинстон Лайт»: как выяснилось, Матей заказывал их оптом в индейской резервации. Общий угол зрения мы выработали сразу, но, когда дело дошло до деталей, наши мнения разделились по всем вопросам. Битый час мы проспорили об одном-единственном предложении из «Учения о тачанке», рассказа о том, как тачанка – бричка с пулеметом сзади – изменила войну. Если у украинского села есть тачанки, пишет Бабель, оно все равно не воспринимается как военный объект, поскольку пулеметы можно спрятать под сеном брички.

Когда пошел дождь, мы с Матеем решили зайти внутрь и посмотреть в библиотеке, как в оригинале выглядит предложение, ставшее предметом нашего спора: «Эти схоронившиеся точки, предполагаемые, но неосязаемые слагаемые, дают в сумме строение недавнего украинского села – свирепого, мятежного, корыстолюбивого». Даже с русским текстом перед глазами мы все равно не смогли сойтись по поводу того, что такое «схоронившиеся точки». Перечитывая этот рассказ сегодня, я не могу понять, о чем мы так долго спорили, но помню, как Матей раздраженно сказал:

– В твоей версии все выглядит, будто он занимается подгонкой, как в двойной бухгалтерии.

– Именно! – отрезала я. – Именно двойной бухгалтерией он и занимался.

Мы пришли к выводу, что никогда не достигнем взаимопонимания, поскольку я материалист, а Матей придерживается фундаментально религиозных взглядов на историю. В итоге мы решили разделить задачи: Матей будет писать о том, как Бабель заменил старых богов новой мифологией, а я – о Бабеле как бухгалтере.

«Как хорошо, – писал Мандельштам, – что вместо лампадного жреческого огня я успел полюбить рыжий огонек литературной злости!» Не знаю, работал ли Матей над своей презентацией при свете жреческой лампы, но лично меня именно литературная злость подвигла к желанию доказать, что Бабель на самом деле был бухгалтером. К моему изумлению, это оказалось правдой: мало того что в его рассказах непрерывно появляются бухгалтеры и клерки, но и сам Бабель тоже окончил Киевский коммерческий институт, где получал высшие оценки по общему бухучету. Особенно мне запомнился рассказ «Пан Аполек», где поляк Аполек обращается к рассказчику «пан писарь». «Пан» – по-польски значит «мистер», «господин», а одно из значений слова «писарь» – «клерк». Однако в польском «*pisarz*» – это не «клерк», а «писатель». Пан Аполек хотел назвать рассказчика «господин писатель», но писатель в Красной конной армии превратился в клерка.

В итоге я написала о «двойных» отношениях в текстах Бабеля между литературой и прожитым опытом, строя свою работу вокруг рассказа «Пан Аполек» (истории деревенского иконописца, наделявшего библейские фигуры лицами односельчан: «двойная бухгалтерия» между предсуществующей художественной формой и наблюдениями из жизни). Презентация на семинаре прошла хорошо, и через несколько месяцев я представила ее в расширенном виде на коллоквиуме по славянским языкам, где она привлекла внимание университетского специалиста по Бабелю Гриши Фрейдина. Фрейдин сказал, что поможет мне доработать ее для публикации.

– Зачем изучать Евангелие с кем-то еще, если под рукой есть святой Петр? – настаивал он и потом предложил работу – сделать исследование для его новой критической биографии Бабеля.

Название книги на той стадии постоянно смещалось то к «Еврею на коне», то к «Другому Бабелю». Лично меня захватывала идея «другого Бабеля», то есть что Бабель – это не тот человек, которого мы себе представляем или которого знаем с его слов, что он – это *некто совсем иной*. В его «Автобиографии», где и полутора страниц не наберется, полно неправды: он, например, заявляет, что служил в ЧК с октября 1917 года, в то время как ЧК появилось на свет лишь два месяца спустя, или что он воевал на «румынском фронте». «Сегодня можно решить, что „румынский фронт“ – такой анекдот, – сказал Фрейдин. – Но это не так, фронт существовал на самом деле. Только Бабеля там никогда не было».

Недокументированная жизнь Бабеля тоже полна загадок, главная из которых – почему он в 1933 году вернулся из Парижа в Москву, при том что чуть не весь предыдущий год потратил, сражаясь за разрешение выехать за границу? И не менее странно – почему в 1935 году, как раз когда начинались чистки, Бабель вдруг собрался перевозить мать, жену и дочь из Брюсселя и Парижа назад в Советский Союз?

Это и стало моим первым заданием: я отправилась в архив Гугеровского института посмотреть русскую эмигрантскую парижскую прессу за 1934 и 1935 годы – с момента убийства Кирова, – чтобы понять, насколько семья Бабеля могла быть осведомлена о чистках. Эти газеты еще не перенесли на микропленку, а хрупкость бумаги оригиналов, переплетенных в громадные тома размером с могильную плиту, не позволяла сделать ксерокопии. Сидя в углу, я набирала на своем ноутбуке списки людей, расстрелянных или отправленных в Сибирь, газетные заголовки о Кирове и не только: «Кто поджег Рейхстаг?», «Бонни и Клайд застрелены» и другие в этом роде. Часы летели незаметно, и я опомнилась, лишь когда погас свет. Поднявшись на ноги, я увидела, что вся библиотека не только обесточена, но к тому же безлюдна и заперта. Удары в двери не помогли, и я вслепую сквозь темноту направилась к коридору со служебными кабинетами, где мне посчастливилось обнаружить миниатюрную русскую женщину за чтением микрофильма под лазанью из пластиковой коробочки. Удивление, которое она испытала, увидев меня, сделалось еще сильнее, когда я обратилась за инструкциями о том, как выбраться из здания.

– Выбраться? – эхом повторила она, словно речь шла об экзотическом обычае неведомого народа. – Не знаю.

– Угу, – сказала я. – Но вы-то сами как отсюда будете выбираться?

– Я? Ну, э-э... – она уклончиво отвела взгляд. – Но я вам кое-что покажу. – Она встала, взяла из ящика стола фонарик и пошла назад в коридор, знаками показывая следовать за ней. Мы подошли к аварийному выходу с огромной табличкой СРАБОТАЕТ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

– Она не заперта, – сказала она. – Но за вами замок закроется.

Сигнализация не сработала. Я спустилась на несколько пролетов, прошла через еще одну пожарную дверь и оказалась в залитом желтым предвечерним солнцем бетонном колодце заметно ниже уровня земли. Прямо за углом у главного входа в Башню Гугера в дверь колодели две китаянки в громадных соломенных шляпах. Я отстегнула велосипед и неторопливо поехала домой. Так и не узнав, почему Бабеля захотелось в 1935 году вернуть семью в Советский Союз.

В тот месяц Фрейдин занялся организацией международной Бабелевской конференции в Стэнфорде, и я стала готовить сопровождающую выставку литературных материалов из архива Гугеровского института.

Содержимое сотни с лишним ящиков по Бабелю оказалось чрезвычайно разнообразным, почти как в разграбленном польском имении: экземпляры «Конармии» на испанском и иврите; «оригинальные акварели» польского конфликта, созданные примерно в 1970 году; «Большая книга еврейского юмора» ок. 1990; номер авангардистского журнала «ЛЕФ» под редакцией Маяковского; «Какими они были», книга детских фотографий известных людей в алфавитном порядке с закладкой на странице, где четырнадцатилетний Бабель в матросском костюме стоит лицом к девочке с лицом юной Джоан Баэз. Там была оформленная Александром Родченко книга о Конной армии с фотографией матери командарма Буденного Мелании Никитичны на пороге хаты – она косится на камеру и держит в руках гусенка. («Первый гусь Буденного, – заметил Фрейдин, – и его штаны». Штаны сушились на заднем плане.)

Еще меня попросили найти два пропагандистских плаката 1920 года – один польский, а другой советский. Координатор выставок привела меня в лабиринтоподобный подвал, где проходила инвентаризация новой коллекции. Сверху на архивных шкафах лежали разные плакаты 1920 года, где Россия изображалась то вавилонской блудницей, то четырьмя всадниками Апокалипсиса с головами Ленина и Троцкого у лошадей; на одном плакате было нарисовано тело Христа на постапокалиптических руинах – «Вот какой станет Польша, если ее захватят большевики», – и мне вспомнился фрагмент из дневника Бабеля о разграблении старого костела:

«...сколько графов и холопов, великолепная итальянская живопись, розовые палеры, качающие младенца Христа, Рембрандт... Это так ясно, разрушаются старые боги».

– Мне жаль, но у нас нет русских пропагандистских плакатов, – сказала координатор. – Боюсь, тут все несколько односторонне.

– Смотрите-ка, – произнесла я, заметив среди этой груды какие-то кириллические буквы. – Вон тот – русский. – Я вытащила громадный плакат со слюнявым бульдогом в королевской короне: «Державная Польша – последний пес Антанты».

– Да, конечно, – сказала координатор, – здесь есть плакаты на русском, но они не большевистские. Это всё польские плакаты.

Я разглядывала плакат и задавалась вопросом: с чего вдруг поляки решили изобразить «Державную Польшу» в виде ужасной дикогоглазой собаки? Тут я заметила еще один плакат на русском: маленький круглый капиталист с усами и в котелке, похожий на человечка с эмблемы игры «Монополия», но с кнутом в руке.

– «Польские хозяева хотят превратить русских крестьян в рабов», – прочла я вслух и предположила, что интерпретировать этот плакат в пропольском свете довольно затруднительно.

Координатор воодушевленно закивала:

– Да, на этих плакатах полно двусмысленных образов.

Поднявшись опять в читальный зал, я надела перчатки – в архиве все должны носить белые хлопковые перчатки, как на безумном чаепитии в «Алисе», – и обратилась к ящику с польскими военными реликвиями. Мое внимание привлек пожелтевший лист бумаги с польским текстом за подписью главнокомандующего Йозефа Пилсудского; он был датирован 3 июля 1920 года и начинался словами: «Obywatele Rzeczypospolitej!» Я узнала фразу из дневника Бабеля от 15 июля. Он нашел эту самую прокламацию в Белеве: «„Мы помним о вас, всё для вас, солдаты Речи Посполитой!“ Трогательно, грустно, нету железных большевистских доводов, нет посулов и слова – *порядок, идеалы, свободная жизнь*».

В «Конармии» рассказчик обнаруживает эту же самую прокламацию, случайно помочившись в темноте на труп:

«Я зажег фонарик, обернулся и увидел на земле труп поляка, залитый моей мочой. Записная книжка и обрывки воззваний Пилсудского валялись рядом с трупом. В тетради поляка были записаны карманные расходы, порядок спектаклей в Краковском драматическом театре и день рождения женщины по имени Мария-Луиза. Воззванием Пилсудского, маршала и главнокомандующего, я стер вонючую жидкость с черепа неведомого моего брата и ушел, сгибаясь под тяжестью седла».

Только подумать, я держу в руке тот самый документ! Я стала размышлять, было ли это таким уж невероятным совпадением. Напечатали, наверное, тысячи копий, так почему бы одной из них не оказаться в этом архиве, ведь это же не именно та бумага с мочой Бабеля, хоть Фрейдин и стал шутить об экспонировании этой прокламации «рядом с баночкой мочи». Шутка была направлена в адрес работников архива, которые постоянно намекали, что выставка станет доступнее для публики, если все эти книги и бумаги разбавить «более трехмерными объектами». Кто-то предложил нам создать диораму по мотивам «Сына Рабби» с портретами Ленина и Маймонида и с филактерией. Фрейдин утверждал, что если там будет филактерия, то придется искать и «исчахшие гениталии престарелого семита», которые тоже фигурируют в рассказе. Идея с диорамой была отвергнута.

Найдя прокламацию Пилсудского, я стала думать, что пусть исчахшие гениталии и утеряны для потомства, но относящиеся к Бабелю текстуальные объекты все еще можно обнаружить. Я решила поискать материалы о моем любимом персонаже из дневника, пленном аме-

риканском летчике Фрэнке Мошере, которого Бабель допрашивал 14 июля: «Сбитый летчик американец, босой, но элегантен, шея как колонна, ослепительно белые зубы, костюм в масле и грязи. С тревогой спрашивает меня, неужели я совершил преступление, воюя с советской Россией. Сильно наше дело. Ах, как запахло Европой, кафе, цивилизацией, силой, старой культурой, много мыслей, смотрю, не отпускаю. Письмо майора Фонт-Ле-Ро – в Польше плохо, нет конституции, большевики сильны... Нескончаемый разговор с Мошером, погружаюсь в старое, растрясут тебя, Мошер, эх, Конан-Дойль, письма в Нью-Йорк. Лукавит Мошер или нет – судорожно добивается, что такое большевизм. Грустное и сладостное впечатление».

Я любила этот пассаж – за упоминание Конан-Дойля, кафе, некоего «майора Фонт-Ле-Ро», за фразу «грустное и сладостное впечатление». Более того, под именем «Фрэнк Мошер» скрывался капитан Мэриан Колдуэлл Купер, будущий создатель и продюсер «Кинг-Конга». И ведь это было на самом деле: Галиция, июль 1920 года, будущего создателя «Кинг-Конга» допрашивает будущий создатель «Конармии». Я проверила Мэриана Купера в библиотечном каталоге, и – словно в волшебной сказке – оказалось, что в гугеровском архиве хранится основная часть его бумаг.

Выяснилось, что Купер родился в 1894 году, как и Бабель. В Первую мировую служил летчиком, командовал эскадрилей в битве при Сен-Мийеле, был сбит во время Мез-Аргоннского наступления и провел несколько месяцев в немецком плену, где много сталкивался с русскими, приобретя пожизненное отвращение к большевизму. В 1918 году был награжден медалью «Пурпурное сердце». В 1919-м вместе с девятью другими американскими летчиками поступил в эскадрилью имени Костюшко, подразделение польских воздушных сил, для борьбы с «красной угрозой» под командованием майора Седрика Фонт-Ле-Ро. Взял псевдоним «капрал Фрэнк Р. Мошер», увидев это имя на поясе в ношеном нательном белье, полученном от Красного креста.

13 июля 1920 года агентство «Ассошиэйтед Пресс» сообщило, что Купера в расположении противника в Галиции «сбили казаки». По словам местных крестьян, на Купера «набросились всадники из кавалерии Буденного», и его убили бы на месте, если бы за него не заступился *неизвестный большевик, знавший английский*. На следующий день, 14 июля, в дневнике Бабеля появляется запись о Фрэнке Мошере.

От Купера у Бабеля осталось «грустное и сладостное впечатление», а вот Бабель на Купера, похоже, никакого впечатления не произвел, и в его записях нет ничего о «нескончаемом разговоре». Вспоминая о Красной конармии, он упомянул лишь допрос у Буденного, который приглашал его «в большевистскую армию в качестве инструктора по авиации». (Кстати, Бабель был прав: Мошер *действительно* лукавил, когда спрашивал, не совершил ли он «преступление, воюя с советской Россией».) Отказавшись стать инструктором, он пять дней прожил «в гостях» у большевистской эскадрильи. «Я сбежал, но через два дня меня снова арестовали и под усиленной охраной отправили в Москву». Всю зиму он убирал снег с железнодорожных путей, а весной бежал из тюрьмы «Владыкино» вместе с двумя польскими лейтенантами и на товарных поездах добрался до латвийской границы («Мы адаптировали методы американских бродяг к нашим обстоятельствам»). На границе потребовалось подкупить солдат. Купер отдал свои сапоги и в Ригу вошел опять босиком.

Один из коллег Купера, летчик Кеннет Шрюсбери, вел фотоальбом, который, по невероятной счастливой случайности, тоже оказался в Стэнфорде. Своей камерой с сухими пластинками он снял всю польскую кампанию и еще Париж, где была промежуточная остановка. (Среди снимков – групповой портрет всей эскадрильи имени Костюшко у входа в «Риц», общий план Елисейских полей, зловеще пустых, если не считать одинокой повозки и двух автомобилей, крупный план лебедя – видимо, в Тюильри.) В те недели я разглядывала много фотографий Галиции и Волыни двадцатых годов, но эти были первыми, где все очень походило на описания Бабеля. Все на месте: скупенная у подножья средневекового замка деревушка, раз-

рушенный большевиками храм, аэропланы, симпатичный майор Фонт-Ле-Ро, ровняющие поле евреи, польские механики, всадники, проезжающие мимо подольской аптеки, и сам Купер, такой же, каким его описывает Бабель, – американец, большой, шея словно колонна. На одном из снимков он слегка улыбается и держит трубку, как Артур Конан-Дойль.

Купер обратился к кинематографу в 1923 году, начав работать вместе с таким же, как он, ветераном российско-польской кампании капитаном Эрнестом Б. Шудсаком. В поисках «опасностей, приключений и природной красоты» они отправились в Турцию и сняли фильм о ежегодной миграции персидского племени бахтиаров («Трава: битва народа за выживание»); потом в Таиланде они сделали картину «Чанг: драма в глуши» о находчивом лаосском семействе, которое вырыло у своего дома яму, чтобы заманивать туда диких зверей. Кто только не оказывался в этой яме: леопарды, тигры, белый гиббон, – а однажды туда попало таинственное существо, которое называли чангом и которое в итоге оказалось слоненком. Купер утверждал, что во время съемок «Чанга» он мог предсказать поведение персонажей на площадке по фазам луны. Страстный аэронавт, Купер нередко обращался за ответами к небу: среди его бумаг я нашла письмо пятидесятых годов, где вкратце излагался план колонизации Солнечной системы, чтобы загнать в угол Советы и предотвратить надвигающийся кризис людской и автомобильной перенаселенности в Калифорнии.

В 1931 году (Бабель в тот год опубликовал «Пробуждение») у Купера появился замысел «Кинг-Конга»: один кинодокументалист и его съемочная группа обнаруживают на далеком острове «наивысшего представителя доисторической животной жизни». Документалист замыслился как собирательный образ, совмещающий Купера и Шудсака: «Вставьте туда нас, – инструктировал Купер сценаристов. – Пусть там будет дух подлинной экспедиции Купера-Шудсака». Киношники из фильма должны привести доисторического монстра в Нью-Йорк для «противостояния нашей материалистической, механистической цивилизации».

На той же неделе я в библиотеке взяла «Кинг-Конга». Глядя, как гигантская обезьяна висит на Эмпайр-стейт-билдинг и лупит по бипланам, я поняла, что Бабель описал аналогичную сцену в «Эскадронном Трунове». В конце рассказа Трунов с пулеметом на бугре обстреливает четыре бомбардировщика из эскадрильи имени Костюшко – «машины из воздушной эскадрильи майора Фаунт-Ле-Ро, просторные бронированные машины... Машины залетали над станцией все круче, они хлопотливо трещали в вышине, снижались, описывали дуги...» Как и у Кинг-Конга, у Трунова нет аэроплана. Подобно Кинг-Конгу, он терпит поражение. Из надписей на коробке с диском я узнала, что летчики на крупных планах в сцене с Эмпайр-стейт-билдинг – это не кто иные, как Купер и Шудсак: «Мы должны сами убить этого сукина сына». Иными словами, и Кинг-Конг, и эскадронный Трунов были оба убиты летчиками эскадрильи имени Костюшко.

Еще одна любопытная деталь в истории создания «Кинг-Конга»: в декорациях острова Черепов по вечерам снимался остров «Ловушка кораблей» из другого проекта Купера и Шудсака, «Самая опасная игра» – экранизации рассказа Ричарда Коннела. В «Самой опасной игре» звезды «Кинг-Конга» Роберт Армстронг и Фэй Рэй снова оказываются на необитаемом тропическом острове и снова противостоят грубому монстру – свихнувшемуся генералу казачьей кавалерии, который ради забавы охотится на потерпевших крушение моряков вместе со своим глухонемым слугой Иваном («Гигант, крепко сложенный, с черной бородой, доходившей ему чуть ли не до пояса», Иван «когда-то имел честь служить любимым палачом Великого белого царя»)⁸.

Об этих находках я доложила Грише Фрейдину.

⁸ Р. Коннел. Самая опасная дичь. Переводчик неизвестен (примеч. пер.).

– Смотри-ка, это же он! Эскадронный Трунов! – воскликнул он, уставившись на принесенную мной фотографию с Кинг-Конгом и самолетами. – Этот образ, наверное, лежал в коллективном бессознательном, – размышлял он вслух. – Знаешь, что нужно сделать? Нужно вернуться в гугеровский архив и просмотреть все антибольшевистские плакаты. Уверен, что хотя бы на одном большевизм будет изображен гигантской обезьяной.

Он позвонил прямо в архив и попросил провести поиск в базе плакатов по ключевым словам *ape* («обезьяна») и *propaganda*. Когда я туда пришла, меня ждала восемнадцатистраничная распечатка. К сожалению, там были не только «обезьяны», но все слова на любых языках, начинавшиеся на *ape*.

Когда я отсеяла *Apertura a sinistra, 25 lat Apelu Sztokholmskiego* и прочие подобные фразы, в списке осталось всего несколько пунктов. Первым был немецкий плакат, где обезьяна в прусской шляпе одной лапой схватила женщину, а в другой держала дубинку с надписью «Kultur». Я понятия не имела, как нужно интерпретировать этот образ, но решила, что едва ли речь идет о большевизме. Дальше шел венгерский плакат, где центральная фигура, названная в каталоге «человек-обезьяна», скорее походила на кошмарного уродца, измазанного кровью, которую он пытался смыть в Дунае у стен парламента.

Я уже начала было подбирать слова к плохим новостям для Фрейдина, как вдруг наткнулась на итальянский плакат времен Второй мировой – *La mostruosa minaccia a pesare sull'Europa*. Чудовищную угрозу большевизма олицетворяла ярко-красная обезьяна, которая с растерянным видом стояла на карте Европы, потрясая серпом и молотом. Беспокоясь, вероятно, о том, что обезьяна вышла недостаточно угрожающей, художник на всякий случай пририсовал у нее за плечом фигуру Смерти в маске.

Одна обезьяна – на карте Европы, другая – на Эмпайр-стейт-билдинг. Я сняла белые перчатки; моя работа здесь завершена.

По крайней мере, я так думала. Сначала мне вернули мой экземпляр с припиской: «Пожалуйста, срочно позвоните по поводу изображения казаков грубыми монстрами». Я попыталась объяснить, что сама нигде не называю казаков «грубыми монстрами», а лишь предполагаю, что такое впечатление могло сложиться у других. Координатор выставок не согласилась. Другие, сказала она, не считали казаков грубыми монстрами: «На самом деле казаки воспринимались достаточно романтично».

Я хотела было процитировать флюберовский «Лексикон прописных истин»: «Казаки. – Едят свечи», но вместо этого просто заметила, что едва ли на выставку реально заглянет какой-нибудь казак.

– Мы так рассуждать не можем. В Калифорнии ничего нельзя знать наверняка.

Пару дней спустя мне стали звонить по поводу «трехмерных объектов».

– Элиф, хорошо, что я вас застала. Не вставить ли нам в вашу витрину по Красной коннице меховую шапку?

Я подумала.

– А что за шапка?

– В том-то все и дело. Боюсь, она не совсем аутентична. Один человек купил ее на московском блошином рынке. Но с виду это вполне русская меховая шапка.

– Спасибо за то, что обращаетесь именно ко мне, – ответила я, – но, думаю, это должен решать профессор Фрейдин.

– Ох, – сказала она. – Профессор Фрейдин не захочет выставлять эту шапку.

– Наверное, нет, – согласилась я.

На следующий день телефон зазвонил снова.

– Ладно, Элиф, а как вы считаете – что, если мы внизу витрины разложим казачий национальный костюм?

– Казачий национальный костюм? – повторила я.

– Ну... окей, *проблема* в том, что это детский размер. Типа, детский казачий костюм. Ведь это совсем неплохо. В смысле, то, что это детский костюм. Он наверняка подойдет по размеру витрины, а со взрослым так может не выйти.

Чуть не каждый день придумывали что-то новенькое: самовар, Талмуд, трехфутный резиновый Кинг-Конг. В итоге сошлись на гигантской казачьей шашке, которую, подозреваю, тоже приобрели на московском блошином рынке. Ее поместили в витрину, не имевшую никаких семантических связей с саблями, и поэтому люди на выставке постоянно спрашивали меня, что она означает. «Почему бы ее не поставить на витрину про „Моего первого гуся“? – спросил один из гостей. – Там, по крайней мере, упоминается сабля».

Тем временем началась конференция. Приехали ученые со всего мира: Россия, Венгрия, Узбекистан. Один профессор прилетел из аэропорта Бен Гурион с библиографией «Бабеле-библиография» и докладом «Бабель, Бялик и лишения». Но главными звездами стали дети Бабеля: Натали, дочь от его жены Евгении, и Лидия, дочь от Антонины Пирожковой, с которой Бабель жил последние годы.

Сообщение о том, что среди гостей будет и сама Антонина Пирожкова, привело в экстаз моего однокашника Джоша. Его родители страстно почитали «Звездные войны». Они называли его Джош Скай Уокер, и мы его частенько называли Скайуокером, чтобы отличать от остальных Джошей. Скайуокер тоже работал на выставке, и Пирожкова с фотографий тридцатых годов стала предметом его обожания.

– Слушай, как я мечтаю поехать за *ней* в аэропорт, – сказал он.

– А ты отдаешь себе отчет в том, что ей уже, наверное, за девяносто?

– Наплевать, она такая крутая. Ты не понимаешь.

На самом деле прекрасно понимала. В книжке Родченко я тоже заметила пару казаков, которых с удовольствием встретила бы в аэропорту, если бы не то обстоятельство, что – как я и предсказывала – никто из казаков на конференцию не приехал.

Однако желание Скайуокера сбылось: вместе с Фишкиным, его другом и носителем русского, их назначили встретить Пирожкову и Лидию, прилетавших в воскресенье перед конференцией. За Натали Бабель сначала предполагалось, что поеду я, но она позвонила на факультет предупредить, что у нее очень тяжелый чемодан: «Пришлите за мной сильного выпускника. Если не получится, то не беспокойтесь, доеду на автобусе». Поэтому за ней отправили выпускника, а у меня образовался свободный день. Я тогда усиленно готовилась к устным экзаменам, пытаясь за месяц впихнуть в себя все шестнадцать килограммов «Человеческой комедии», и – когда зазвонил телефон – в отчаянии пробежала по диагонали «Луи Ламбера». Это был Скайуокер, который накануне вечером, кажется, сломал ступню на танцах в «Евромед 13» и хотел, чтобы я встретила Пирожкову с Лидией.

– Ты их не пропустишь, – сказал он. – Это будут, типа, девяностолетняя женщина, эффектная такая, и пятидесятилетняя женщина, вылитая Бабель.

– Но... что случилось с Фишкиным?

– Фишкин уехал на озеро Тахо.

– Как уехал на Тахо?

– Ну, это целая история, а проблема в том, что самолет приземляется через полчаса.

Я швырнула трубку и бросилась выгребать из машины накопившийся мусор. Осознав, что не помню отчество Антонины Пирожковой, я полетела обратно в дом к гуглу. Уже на выходе вдруг поняла, что забыла, как сказать по-русски «он сломал ногу». Снова пришлось искать. На листе бумаги я большими буквами написала БАБЕЛЬ, запихнула этот лист в сумку и выбежала из дома, повторяя: «Антонина Николаевна, slomal nogu».

Когда я добралась до аэропорта, самолет уже десять минут как приземлился. Полчаса я бродила по терминалу с табличкой БАБЕЛЬ, высматривая девяностолетнюю женщину, эффектную, и пятидесятилетнюю, вылитую Бабель. Среди множества людей, оказавшихся тем днем в аэропорту, под эти описания никто даже близко не подходил.

В отчаянии я позвонила Фрейдину и объяснила ситуацию. Повисла длинная пауза.

– Они не станут тебя искать, – наконец сказал он. – Они ждут, что их встретит парень.

– В том-то и дело, – сказала я. – А что, если они не увидели парня и... ну... сели в автобус?

– Печенкой чую, они еще в аэропорту.

В случае с большевистской обезьяной его печенка не подвела, так что я решила продолжить поиски. И действительно, через десять минут я увидела ее, сидящей в углу, среди чемоданов, с белым обручем в волосах – крошечная престарелая женщина, в которой тем не менее узнавалась красавица с архивных фотографий.

– Антонина Николаевна! – воскликнула я, расплываясь в улыбке.

Она взглянула на меня и слегка отвернулась, словно надеясь, что я исчезну.

Я предприняла новую попытку:

– Здравствуйте, извините меня, вы приехали на конференцию по Бабелю?

Она быстро повернулась ко мне.

– Бабель, – сказала она, выпрямляясь. – Да, Бабель.

– Я так рада! Простите, что вам пришлось ждать. Парень, который должен был вас встретить, сломал ногу.

Она окинула меня взглядом.

– Ты рада, – заметила она, – ты улыбаешься, а Лидия мучается и нервничает. Она ушла искать телефон.

– О нет! – сказала я, озираясь. В поле зрения не было ни одного телефона. – Я пойду поищу ее.

– Зачем еще и тебе уходить? Вы тогда обе потеряетесь. *Лучше* садись и жди.

Пытаясь напустить на себя приличествующий унылый вид, я снова набрала Фрейдина.

– Слава богу! – сказал он. – Я знал, что они еще там. Как Пирожкова? Очень сердится?

Я взглянула на Пирожкову. Вид у нее был, пожалуй, сердитый.

– Не знаю, – ответила я.

– Мне сказали, что пришлют русского парня, – громко произнесла она. – Парня, который говорит по-русски.

* * *

Атмосфера в машине была несколько напряженной. Лидия, и в самом деле здорово похожая на отца, сидела впереди и вслух читала все рекламные щиты: «Беспроводная „Нokia“, „Джонни Уокер“».

Сидевшая сзади Пирожкова за всю поездку заговорила лишь однажды:

– Спроси ее, – сказала она Лидии, – что это за штучка у нее на зеркале?

Штучкой на зеркале была игрушка из «Макдональдса» – мягкий маленький ослик Иа-Иа, переодетый тигром.

– Это игрушка, – сказала я.

– Игрушка, – громко произнесла Лидия, повернувшись вполборота. – Животное.

– Да, но что это за животное?

– Это ослик, – сказала я. – Ослик в костюме тигра.

– Не понимаю. Это какая-то история?

Насколько мне было известно, история состояла в том, что Тигра заработал невроз на почве отсутствия семьи и наследственности, и поэтому Иа-Иа переодевается тигром, чтобы

притвориться Тигриным родственником. Пока я обдумывала, как это все объяснить, в поле зрения появилось еще что-то оранжевое. Я посмотрела на переднюю панель: топливо на исходе.

– Это не мой ослик, – сказала я, выключая вентилятор. – Это моего друга.

– Что она сказала? – спросила Пирожкова Лидию.

– Она говорит, что это ослик ее друга. Поэтому она не знает, почему он в тигрином костюме.

– Что? – сказала Пирожкова.

Лидия закатила глаза.

– Она говорит, что ослик переоделся в тигра, чтобы выглядеть сильнее на фоне других осликов.

Повисла тишина.

– Кажется, она сказала не это, – сказала Пирожкова.

Мы проехали мимо очередного щита: «Голосуйте за Тэда Лемперта».

– Тэд Лемперт, – задумчиво произнесла Лидия и повернулась ко мне. – Кто такой Тэд Лемперт?

– Не знаю, – ответила я. – Думаю, он хочет стать сенатором.

– Хм, – сказала она. – Лемперт. Я когда-то знала одного Лемперта, художника. Его звали Владимир. Владимир Лемперт.

– О, – произнесла я, пытаюсь придумать, что бы еще сказать. – Я сейчас читаю роман Бальзака о человеке по имени Луи Ламбер. – Я старалась произнести так, чтобы «Ламбер» звучало похоже на «Лемперт».

Остаток пути в отель мы ехали молча.

Первая дочь Бабеля Натали выглядела младше своего возраста (семьдесят четыре года), но голос ее – с выраженными французскими *r* – шел словно из далеких глубин, из склепа.

– У вас очень холодная рука, – поведала она мне, когда нас представляли друг другу. Это было вечером того же дня, когда все участники направлялись в Павильон Гувера на прием по случаю открытия.

– У нас в Стэнфорде есть черные белки, – обратилась к Натали Бабель одна из магистранток, указывая на белку. – Вы видели когда-нибудь черных белок?

Натали направила туманный взгляд в сторону белки.

– Я теперь больше не вижу, – произнесла она. – Не слышу, не вижу, не хожу. По этой причине, – продолжала она, разглядывая крутую цементную лестницу в павильон, – все думают, будто я вечно пьяна.

Наверху у лестницы двое китайцев по очереди фотографировали друг дружку с Виктором Живовым, профессором из Беркли с добродушным лицом и покрытой табачными пятнами старообрядческой бородой.

– Много китайцев, – услышала я русскую речь.

– Да. Неясно почему.

– Они фотографируются с Живовым.

– Хотят иметь свидетельство, что были в Калифорнии. Ха-ха!

Эти двое китайцев были на самом деле киношники, авторы экранизации «Конармии» («Qi Bing Jun»), премьера которой в следующем году должна была пройти в Шанхае. (Кажется, проект в итоге закрыли.) Высокий и круглолицый сценарист много улыбался и прекрасно говорил по-английски, а мелкий и худой режиссер, казалось, не говорит вовсе. На шее у обоих висели огромные камеры.

– В китайской версии «Конармии», – рассказывал нам сценарист, – казаков преобразуют в «варваров с китайского севера», а вместо еврейского рассказчика будет китайский интелли-

гент. Между евреями и китайцами не такая уж большая разница, – пояснил он. – Они учат своих детей скрипке и любят деньги. Лютов станет китайцем, но у него все равно «на носу очки, а в душе – осень». – На слове «нос» он потрогал свой нос, а на слове «душа» – стукнул себя в грудь. Режиссер закивал.

Глядя на них, я вспомнила историю Виктора Шкловского о том, как Бабель провел весь 1919 год, постоянно переписывая «все одну и ту же повесть о двух китайцах». «Они молодели, старели, били стекла, били женщину, устраивали и так и эдак»; Бабель с ними так и не закончил, отправившись в Красную конармию. В дневнике 1920 года «рассказ о китайцах» стал одной из пропагандистских историй, которые Бабель транслировал в разграбленном местечке: «Я рассказываю небылицы о большевизме, расцвет, экспрессы, московская мануфактура, университеты, бесплатное питание, ревельская делегация, венец – рассказ о китайцах, и я увлекаю всех этих замученных людей». В Стэнфорде у нас все это было: университет, бесплатная еда и – венец – китайцы.

Не все русские разделяли мой восторг от этих китайцев. «Мы же не суетимся в вашу „Ицзин...“», – донеслись до меня слова одного из слушателей.

Некоторые русские относятся скептически или даже обижаются, когда иностранцы проявляют интерес к русской литературе. До сих пор вспоминаю офицера на паспортном контроле, который ставил штамп на мою первую студенческую визу. Он намекнул, что есть американские писатели – «Джек Лондон, например», – которых я могла бы изучать у себя в Америке: «И с языком проще, и виза не нужна». Это сопротивление может достигать особенной силы, когда речь идет о Бабеле, который использовал своеобразный русско-еврейский диалект одеситов – язык и юмор, выстраданные одесскими евреями и русскими. Как писал Толстой – и это так и есть, – каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, и каждому человеку на планете Земля, этой долины плача, безусловно, предназначена своя специфика страданий, но нам все же нравится думать, что у литературы есть сила доступно показывать разные виды несчастья. Если не так, то зачем она нужна? Именно поэтому меня однажды разозлил один коллега, пытавшийся на какой-то конференции втолковать мне, что я никогда не смогу полностью понять «Конармию» из-за «специфически еврейской отчужденности» Лютова.

– Ну конечно! – в итоге заявила я. – Откуда мне, турецкой американке в первом поколении из Нью-Джерси и ростом за метр восемьдесят, знать об отчужденности столько же, сколько знаешь ты, мелкорослый американский еврей?

Он закивал:

– То есть ты понимаешь проблему.

* * *

За приемом последовал ужин, который начался с тостов. Один московский профессор предложил тост за Пирожкову:

– В России есть выражение, оно не очень распространенное, но хорошее. Когда кто-то умирает, мы говорим: «Приказал долго жить». Сейчас я смотрю на Антонину Николаевну и вспоминаю Бабеля, который ушел так преждевременно, и я думаю: «Бабель приказал ей долго жить». Нам так повезло, ведь она может рассказать вещи, ведомые только ей. Долгих лет Антонине Николаевне!

Этот тост показался мне одновременно экстравагантным и наводящим тоску. Я приговорила почти целый бокал вина и ощутила в мозгах такую легкость, что едва не рассказала восемнадцатилетней дочери Фрейдина Анне неприличный анекдот. Анна в то время собиралась поступать в колледж и расспрашивала меня о консультациях для абитуриентов в Гарварде. Я поведала ей о своем консультанте, англичанке средних лет, которая проводила встречи с

подопечными в пабе (однажды мне пришлось пропустить встречу, поскольку на входе проверяли возраст) и работала в офисе телекоммуникационной компании.

– Телекоммуникационной?

– Да. Я иногда встречала ее там, когда платила за телефон.

– А кроме телекоммуникаций у нее была какая-нибудь связь с Гарвардом? Она там училась?

– Да, в семидесятые она закончила магистратуру по древнескандинавской литературе.

Анна смотрела на меня в изумлении:

– Древнескандинавская литература? Зачем нужна степень магистра по древнескандинавской литературе?

– Думаю, она помогает с телекоммуникациями, – ответила я.

– Древнескандинавская литература, – повторила Анна. – Хм. Что ж, это, наверное, *плодородная* область исследований. Ведь это же скандинавы придумали Тора, бога грозы?

– О! Я знаю анекдот про Тора! – В анекдоте содержится смешной обмен репликами между Тором и крестьянской дочкой. «I am Thor» [«Я Тор»], – говорит Тор [после проведенной вместе ночи], а девушка отвечает: «I'm thor, too» [«У меня тоже там все болит» в шепелявом произношении]. – В общем, спускается Тор на землю, – начала было я, когда вдруг заметила, что Джозеф Франк – почетный стэнфордский профессор, известный своей авторитетной пятитомной биографией Достоевского, – прервал оживленную дискуссию о Людовике XIII, которую они вели с профессором из Беркли. Оба, не мигая, уставились на меня через стол. – Знаешь, – сказала я Анне, – я подумала, что анекдот несколько непристойен. Расскажу в другой раз.

К тому моменту на меня смотрел уже весь стол. Франк наклонился через подлокотник своей коляски к жене Фрейдина, профессору из Беркли, которая тоже сидела в коляске.

– Кто это? – громко спросил он.

– Это Элиф, аспирантка, которая очень помогла Грише, – ответила она.

– Ага. – Джозеф Франк кивнул и сосредоточился на спагетти.

Все эти события плохо отразились на моем здоровье, поэтому я проспала все утро, пропустив заседание по биографии, которое начиналось в 9 утра. До конференц-центра я добралась, только когда все уже расходилось на обед, и тут же увидела Любу: моего роста, глаза огромные, грустные и серые, а на голове – невероятное количество кучеряшек.

– Элишка! – воскликнула она. – Только проснулась? Но не волнуйся, я все для тебя записала, если понадобится для романа. – Мы пошли обедать в студенческую часть, и Люба мне все рассказала о заседании.

Биографии Бабеля в то время писали три разных человека. Фрейдин – первый из них – представлял своего «Другого Бабеля». Вторая была американская журналистка, которая рассказывала, как она, исследуя жизнь Бабеля, в 1962 году ездила в Москву. Там она брала интервью у старого знакомого Бабеля, поверенного в делах Франции Жака де Бомарше (потомка автора «Фигаро»), и за ней все время следили люди из КГБ, которым Бомарше галантно приказал «Fichez le camp!» [«Убирайтесь!»], но вопросов в КГБ ей избежать все равно не удалось. Третий автор, немец Вернер Платт, который преподавал историю в Ташкенте, прочел доклад под названием «Работа над биографией Исаака Бабеля: задача для сыщика», где говорилось в основном, как его выставляли из разных российских архивов и как ему в итоге ничего не удалось найти. Отталкиваясь от тезиса, что, мол, «хороший сыщик всегда повторно идет на место преступления», он совершил паломничества в старый одесский дом Бабеля, в московскую квартиру, на дачу в Переделкине, но лишь обнаружил, что ничего не уцелело. Не падая духом, Платт на автобусе отправился в Лемберг (Львов). В своем дневнике Бабель упоминает решение Буденного отказаться от атаки Лемберга: «Что это – безумие или невозможность взять

город кавалерией?» После прогулки по городу Платт пришел к выводу, что Лемберг действительно красив, на что Бабель и намекал, называя отступление Буденного «безумием».

Его доклад встретили прохладно. Кто-то пробормотал: «Для некомпетентного исследователя все что угодно станет „задачей для сыщика“». Похоже, некоторые из документов, к которым Платт так и не смог добраться в архивах, были уже давным-давно опубликованы. «Вы можете купить это все в „Барнс и Нобл“», – сказал кто-то из аудитории.

Кроме того, Платт сделал еще ряд провокационных заявлений об утерянных рукописях, которые вызвали массовую дискуссию о местонахождении и содержании отсутствующих папок.

– Они пусты! – выкрикивал кто-то из русских. – Папки оказались пустыми!

Натали Бабель встала и взяла микрофон. «Это была лучшая часть», – сказала Люба, расправляя спину и читая свои записи голосом словно из далеких глубин, из склепа.

– Когда я была совсем девочкой, мне говорили, что мой папочка – писатель. – Пауза. – Позднее я слышала, как люди говорят, что Исаак Бабель – великий писатель. – Пауза. – Но для меня он был просто папочкой.

Долгая пауза.

– Я смущена.

Еще пауза.

– Я смущена.

Прошла минута, другая – в полной тишине. Наконец кто-то спросил, правда ли, что она до сих пор «скрывает некоторые неопубликованные письма».

Натали Бабель вздохнула.

– Позвольте мне рассказать историю о письмах. – История состояла в том, что к Натали попал сундучок писем отца. («Писем ее папочки», – пояснила Люба.) – Я знала, что должен прийти биограф, – продолжила она, – Но он меня раздражал. Поэтому я отдала письма тетке. Когда пришел биограф, я сказала, что у меня ничего нет.

– И где же письма теперь?

Натали не знала.

– Может, у меня под кроватью, не помню.

Заседание закончилось дурдомом.

После дневной сессии на тему «Бабель и мировая литература» я отправилась на велосипеде в свой жилой комплекс и там чуть не наехала на Фишкина, который курил в пижаме на улице. Я поздравила его с возвращением с Тахо и спросила, как ему конференция. Выяснилось, конференция ему никак. А к его связанным с Тахо неприятностям добавилось еще и то, что известный специалист по XX веку Борис Залевский показал ему на парковке средний палец.

– Ты шутишь? – спросила я.

– Н-н-нет! – ответил Фишкин, который в волнующие моменты начинал заикаться. – Это правда, клянусь!

Залевский привел меня в недоумение еще на сессии вопросов-ответов в конце дневного заседания. Один знаменитый профессор сравнительного литературоведения прочел показавшийся мне крайне неубедительным доклад, где пассаж из «Мадам Бовари» с мухами, умирающими на дне бокала с сидром, был сопоставлен с бабелевским описанием гибели эскадронного Трунова. (Сходство якобы заключалось в том, что и Флобер, и Бабель эстетизировали банальное.) Мой консультант Моника Гринлиф, модератор заседания, вернувшись к теме мух в сидре, сравнила их с дохлыми мухами в чернильнице Плюшкина из «Мертвых душ» и с мухами, пожирающими друг друга, в стихе капитана Лебядкина из «Бесов» Достоевского. Мне эта линия сравнения показалась куда более перспективной: тем более у Бабея тоже есть строчка о том, как в тифлисской гостинице «в пузырьке, наполненном молочной жидкостью, умирали мухи». Прекрасный пассаж: «Каждая умирала по-своему». Мой консультант не успела даже

дойти до сути своей мысли о мертвых мухах, как ее перебил Залевский: «Пример с Флобером уместен, а ваш – нет».

Это меня смутило, поскольку доклад Залевского мне как раз понравился. Он был куда интереснее, чем все эти выступления об «эстетизации банального» и «восторге восприятия». Но если он такой умный мужик, то что же он а) хвалит посредственный доклад и б) грубит Монике, которая так легко оперирует всеми утонувшими мухами в русской литературе.

– У него, наверное, биполярное расстройство, – сказала я Фишкину. – А как это вышло?

На парковке Фишкин включил поворотный сигнал и уже готовился поставить машину, как вдруг автомобиль, выскочивший с другой стороны прямо из-за угла, прошмыгнул на место Фишкина. Водитель показал Фишкину средний палец и – будто этого мало – оказался Залевским!

– А ты что сделал? – спросила я.

– Й-й-й-я повернул лицо, вот так, – Фишкин повернул голову влево, – чтобы он меня не узнал. И потом отъехал.

Дома я приготовила чай и взялась за Бальзака. Но от Бабеля было никуда не деться. В одном из предисловий я нашла забавную историю, которую Бальзак рассказывал о своем отце, служившем в начале карьеры клерком у парижского прокурора, и которую вполне можно было бы озаглавить «Моя первая куропатка»: «По обычаю того времени [отец Бальзака] обедал вместе с другими клерками за столом патрона... Прокурорша, украдкой поглядывавшая на новичка, спросила его: „Господин Бальзак, умеете вы резать мясо?“ – „Да, сударыня“, – отвечал молодой человек, покраснев до ушей, и храбро схватил нож и вилку. Совершенно не зная кухонной анатомии, он разделил куропатку на четыре части, но с такой силой, что расколол тарелку, разрезал скатерть и поцарапал деревянный стол. Это было неловко, но великолепно. Прокурорша улыбнулась, и начиная с этого дня с юным клерком обращались в доме с необыкновенной мягкостью»⁹.

Как и в «Моем первом гусе», юноша приступает к новой работе, живет среди людей потенциально недружелюбной культуры и – через расчленение птицы – добивается того, что его принимают в свой круг и начинают уважать.

Эту историю пересказывает Теофиль Готье в биографии Бальзака (1859). Интересно, думала я, можно ли доказать, что Бабель читал Готье? Потом мои мысли переместились к собственному холодильнику. Тот оказался пуст. Я села в машину и уже ехала по Эль-Камино-Реал, когда зазвонил телефон. Несмотря на задорность мелодии, на экране светилось: ФРЕЙДИН.

– Профессор Фрейдин! Какой приятный сюрприз!

– Элиф, привет. Не знаю, насколько этот сюрприз приятен, но ты права, это Гриша.

Фрейдин звонил с ужина для участников конференции. Ему было неудобно из-за отсутствия аспирантов.

– Тебя нет. Фишкина нет. Джоша нет. Никого нет. Это выглядит... ну... странно. Как-то неловко.

– Но нас никто не приглашал, – указала я.

Молчание.

– Понимаю. Вы ожидали, что вас *пригласят*.

Развернув машину, я направилась в факультетский клуб.

За тремя из четырех столов в зале мест не было, а за четвертым никто не сидел. Пока я раздумывала, не сесть ли мне там в одиночестве, меня заметил Фрейдин и освободил место между собой и Джанет Линд, профессором, под чьей редакцией выходил первый английский перевод конармейского дневника. Кроме нас за столом сидели Натали Бабель, упомянутая аме-

⁹ Т. Готье. Оноре де Бальзак. Пер. С. Брахман (примеч. пер.).

риканская журналистка, Вернер Платт, профессорша литературы из Будапешта и переводчик, который недавно опубликовал первое английское издание избранных работ Бабеля.

Фрейдин представил меня Джанет Линд и предположил, что мы, возможно, захотим поговорить о «Кинг-Конге». Как вскоре выяснилось, о «Кинг-Конге» нам друг другу сказать практически нечего. Какая-то искра в нашем разговоре появилась было, но ее быстро погасила Натали Бабель, которая недоброжелательно уставилась на Линд. Над столом опустилась леденящая тишина.

– Джанет, – произнесла в итоге Натали своим бездонным голосом, – Это правда, что ты меня презираешь?

Джанет Линд повернулась к ней.

– Прошу прощения?

– Правда ли, что ты презираешь меня?

– Не могу вообразить, что навело тебя на такие мысли.

– Я говорю это, потому что хочу знать, правда ли, что ты меня презираешь?

– Это чрезвычайно странный вопрос. Что внушило тебе эту идею?

– Просто, думаю, тебе передали, что я – злобная старая ведьма.

– Совсем удивительно. Тебе кто-то что-то сказал? – Линд слегка нахмурилась. – Мы же с тобой практически не общались.

– Все равно у меня такое впечатление, что ты меня презираешь.

Этот диалог длился дольше, чем можно было бы счесть возможным, поскольку Джанет Линд по тем или иным причинам не собиралась, очевидно, заверять Натали в отсутствии презрения. Переводя взгляд с Линд на Бабель, я вдруг поняла весь смысл строчки из песни группы «Смитс»: «Одни девушки крупнее других». Дело не в том, что лицо у Натали было физически больше, – просто она наглядно демонстрировала, что прибыла сюда из иного места и иного времени, оттуда, где человеческие мерки тоже были иными, крупнее.

– Ну ладно тебе, Натали, – вмешался Фрейдин.

Она пронзила его взглядом своих глубоких слезящихся глаз.

– Понимаешь, некоторые меня в самом деле презирают... – Она вздохнула и указала на два бокала: – Который из них мой?

– Они оба твои.

– О! Я ничего не вижу. В каком из них вода?

– Похоже, в обоих – белое вино.

Натали уставилась на него.

– И зачем мне два бокала вина?

– Ты говоришь так, будто это плохо. На твоём месте я стал бы думать: «Наверное, это награда мне за что-то очень хорошее». Кстати, а *вот* и твой бокал с водой.

– Ага. – Натали выпила воды.

Последовало долгое молчание.

– Итак, – обратился к Фрейдину Платт, когда официанты стали разносить основное блюдо. – Я слышал, что в Штатах падает число заявлений на славянские отделения.

– Правда? Возможно.

– А здесь, в Стэнфорде, вы это ощущаете?

– Я бы сказал, в последние годы у нас была весьма неплохая зачисляемость.

– А аспиранты? У вас их много? Я их почему-то не видел.

– Вот Элиф, – сказал Фрейдин. – Одна из наших аспиранток.

В течение нескольких секунд Платт разглядывал меня поверх очков и снова повернулся к Фрейдину.

– Да. Один экземпляр я вижу. А другие есть?

Тем временем нам уже подавали какие-то котлеты, плавающие в море сливочного масла. Они, похоже, повергли в уныние всех. Венгерская профессорша даже вернула свою порцию на кухню с подробными инструкциями. Через несколько минут порция вернулась без всяких заметных невооруженным глазом доработок.

Ближе к окончанию приема пищи Лидия Бабель встала из-за стола, подошла сзади к стулу Натали, обняла ее за плечи и потрепала по голове.

– Моя дорогая, – сказала она, – как я тебя люблю! Как *славно*, что мы все вместе!

Натали посмотрела через плечо с выражением кошки, которая не хочет на руки. Фрейдин переводил взгляд с Натали на Лидию и обратно.

– Спасибо! – воскликнул он. – Спасибо, Лидия!

Лидия изумленно на него посмотрела.

– За что?

– За то, что приехали! На вашем месте я бы, наверное, колебался.

– Что вы имеете в виду? Что мне трудно ездить с матерью?

– Конечно нет! Но расстояние немаленькое, незнакомое место...

– Кстати, о твоей матери, – обратилась к Лидии Натали, – сколько ей лет? Одни говорят, девяносто два, другие – девяносто шесть. Или это тайна?

– Моей матери девяносто пять.

– На вид ей не дашь больше девяноста трех ни на один день, – проявил галантность Фрейдин.

– Это так. Она в добром здравии и замечательно выглядит, – сказала Лидия. – Но не так хорошо, как еще два года назад. Но это не главное. Главное, что все в порядке *здесь*. – Она постучала по виску. – Ее память и сознание.

Когда Лидия пошла за свой стол, Натали проводила ее взглядом.

– Эта старая ведьма переживет нас всех, – заметила она.

– Натали! – сказал Фрейдин.

Она уставилась на него.

– Думаешь, я должна держать рот на замке, – констатировала она. – Но – почему? Что мне терять? Мне терять ровным счетом нечего.

Вид у Фрейдина был оторопелый.

– Что ж, тогда, полагаю, тебе стоит рискнуть всем, – сказал он. И сделал явную попытку изменить тему: – Натали, пока ты здесь, у меня к тебе вопрос, который никак не дает мне покоя. Как звали твою тетю? Ее очень часто упоминают, но она – то Мериам, то Мириам, то Мари, то Мария. Так как же на самом деле?

– Да-да! Скажите нам, как правильно писать ее имя? – воскликнул Платт с загоревшимися глазами.

Натали посмотрела на него.

– Я не знаю, что значит «правильно писать». Одни называли ее Мериам, другие – Мари, третьи – Марией. Все три имени правильные.

– Как интересно, – сказала Джанет Линд, обращаясь к Фрейдину. – Удивительно, что вы до сих пор не съездили в Одессу и не справились в городском загсе.

– Боюсь, там еще хватает не менее удивительного. Я всегда хотел поехать в Одессу и все выяснить, но так и не сложилось.

– А почему не поедете сейчас?

– По той же причине, по которой бабелевская конференция проходит здесь, в Стэнфорде: я не могу уехать надолго.

– Почему? – спросила американская журналистка.

Фрейдин объяснил, что здоровье жены не позволяет ему совершать дальние поездки, и это объяснение, полагала я, должно бы закрыть тему, но не тут-то было.

– Ведь с вами живет дочь? – спросил кто-то. – Разве она не может поухаживать за ней?
– Анна оказывает нам большую поддержку и дарит много счастья, но ей восемнадцать, и у нее своя бурная жизнь.

Журналистка приняла задумчивый вид.

– Знаете, что я думаю? – сказала она. – Я думаю, вам стоит купить ей собаку.

Фрейдин посмотрел на нее с изумлением.

– Простите?

– Вам нужно купить жене собаку, – пояснила журналистка. – Это изменит ее жизнь.

– Не понимаю, какое отношение к этому может иметь собака?

– Собака изменит ее жизнь!

– Почему вы думаете, что ее жизнь нуждается в переменах? – Очередное молчание. –

Есть вещи, с которыми собака никак не поможет.

Журналистка потупила взгляд.

– Я просто подумала, что, когда ей плохо, собака может лечь рядом.

– Проблема не в «лежать рядом», – твердо произнес Фрейдин.

Журналистка закивала.

– Вижу, что сказала не то. Просто я без ума от собак. – Было видно, что она искренне раскаивается.

– У нас когда-то был пес, много лет назад, – сказал Фрейдин примирительным тоном, – его звали Кутя.

Венгерская профессорша, горестного вида женщина в сером, с интересом подняла взгляд.

– «Кутя» по-венгерски значит «собака»! – сказала она. У нее был головной голос, немного похожий на кукольный.

– Мы думаем, у Кути могла быть венгерская кровь. У него сложная родословная: помесь немецкой овчарки, Лабрадора и бас-баритона.

– Ваш пес умел *петь*? А он умел *говорить*? У нас когда-то был говорящий *кот*.

Молчание.

– И что... – отважилась я и прочистила горло. – Что говорил ваш кот?

Венгерская профессорша изумленно посмотрела на меня.

– «Хочу есть», – пропела она.

Единственный человек за столом, который во время этого обмена репликами не произнес ни слова, был переводчик – грациозный привлекательный мужчина (бывший танцор, как выяснилось позднее) с высокими скулами, узкими глазами и слегка высокомерным взглядом. Он говорил на британском английском с еле заметным иностранным акцентом.

Не менее загадочным был и его перевод: некоторые пассажи выполнены настолько блестяще, что, положив оригинал и перевод рядом, поражаешься – как простой смертный мог выразиться столь неожиданно, но при этом в самую точку, – а некоторые содержали странные ляпы. Например, в конце «Моего первого гонорара» Бабель пишет: «Знаю, что не умру, прежде чем не вырву из рук любви еще один – *и это будет мой последний* – золотой», а в переводе мы читаем: «Не умру, прежде чем не вырву из рук любви еще один (*и определенно не последний*) золотой рубль». В «Гюи де Мопассане» Бабель пишет: «Ночь *подложила* под голодную мою юность бутылку муската 83 года». В переводе: «Ночь *заткнула* мою юность бутылкой муската 83 года». И в книге было полно таких несоответствий. У Бабеля – «в девять часов», а в переводе – «вскоре после восьми». У Бабеля – «в полночь», а в переводе – «после одиннадцати». Фрейдину не понравилось, что «показал фигу» переведено как «показал нос» или что во время петроградского голода у бездомного поэта в кармане лежит «икра сибирского лосося и фунт хлеба»: Фрейдин сказал, что поскольку «бездомные не носят в карманах икру», речь, вероятно, идет о лососевых молоках.

Из-за этих и других противоречий мы в итоге написали собственные варианты, указав, что «при подготовке к выставке использовались разные переводы, в том числе...».

Все вроде бы шло нормально, но в конце ужина привлекательный переводчик вдруг обратился к Фрейдину.

– Знаете, – сказал он, – я вчера зашел на выставку и заметил нечто странное. Возможно, вы мне объясните. – В одной из витрин он заметил свою книгу, открытую на рассказе Бабеля «Одесса», а рядом – подпись с цитатой из рассказа не в его переводе.

– Редактура, – не задумываясь ответил Фрейдин. – В Институте Гувера редактируют все наши тексты. Вы не поверите, как они правят. – И рассказал историю о редакторе, который перевел весь набранный курсивом идиш, и у него в итоге *Luftmensch* (непрактичный мечтатель) превратился в «пилота», а *shamas* (служка при синагоге) – через английское *shamus* – в «частного сыщика».

Переводчика эта история отнюдь не позабавила.

– То есть вы хотите сказать, что гуверовские редакторы изменили мой перевод?

– Я хочу сказать, что эти тексты прошли через много разных рук.

– Но что я – как переводчик – должен думать? Моя книга выставлена рядом с текстом, который я не писал. Может, мне обратиться в суд?

– Майкл, – сказал Фрейдин после паузы, – нам всем нравится ваш перевод, и мы вам за него благодарны. Я хочу, чтобы мы были друзьями. Давайте не будем про суд. Это не имеет никакого смысла. Вход на выставку бесплатный.

– Дело не в этом. Дело в том, что на витрине я вижу *свою* книгу, а рядом с ней – цитата *с ошибками*. И вы мне говорите, что ответственности за это никто не понесет, поскольку выставка бесплатная?

– Майкл. Я хочу, чтобы мы были друзьями. Давайте начистоту. Есть ли на выставке ошибки? Да! Ошибки есть везде. Даже в Полном собрании, если уж на то пошло.

У переводчика была превосходная осанка, но тут он сделался еще прямее.

– Какие ошибки? Вы имеете в виду в примечаниях? Но для мягкой обложки там все исправили.

– Нет, я говорю не о примечаниях.

– Тогда, откровенно сказать, я не понимаю, что *именно* вы имеете в виду.

– Майкл, я хочу, чтобы мы были друзьями. Полное собрание просто великолепно. Нам всем оно очень нравится. Но при переводе Бабеля – при переводе кого угодно – ошибки неизбежны. Я нашел ошибки. Элиф нашла ошибки. – Переводчик коротко глянул из-под припухших век в мою сторону. – *Но я хочу, чтобы мы были друзьями.*

– Вот видишь, с чем мне приходится иметь дело? – вопрошал Фрейдин. Мы стояли у конференц-зала после ужина. Китайцы готовились к презентации. Неподалеку курил младший преподаватель символизма.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.